

Борис Васильев

Картежник и бретер, игрок и дуэлянт

К истории рода Олексиных

В семидесятые годы начали вымирать последние представители старой русской интеллигенции, чудом выжившие в многочисленных лагерях или чудом в них не угодившие. Сыновья и дочери птенцов гнезда Лаврова, сумевшие донести до нас его завет о неизбывном долге русского интеллигента перед своим народом. Их негромкий голос уже заглушался крепнущими басами новой, советской интеллигенции, и я понял, что обязан написать роман о тех, кто востребован был когда-то в ряды этого уникального, чисто русского явления.

То, что мы поныне понимаем под русской интеллигенцией, являлось дворянской служилой прослойкой, к которой примыкали многочисленные разночинцы. Уникальность и неповторимость именно этой интеллигенции заключалась в том, что она, во-первых, была свободна политически (дворянина можно было обвинить только либо в государственной измене, либо — в уголовном преступлении); и, во-вторых, была экономически независима, ибо обладала собственными источниками существования (поместья, многочисленные родственники и т. п.). Это

не просто позволяло ей мыслить критически, но и давало возможность воздействовать на Государя как опосредованно, так и впрямую. Это под ее давлением Александр Второй вернул из ссылки декабристов, провел ряд общегосударственных стратегических реформ (образования, судопроизводства, военную, полицейскую) и согласился в конце концов с Конституцией, ограничивающей его собственную власть. Эта Конституция ждала его на столе в тот роковой для России день 1-го марта 1881 года, когда бомба террористов-народовольцев оборвала его жизнь.

Мне посчастливилось родиться в семье, имеющей непосредственное отношение к этому периоду нашей истории. Братья Алексеевы, отец и дядя моей матушки, были основателями кружка Чайковцев, ходили «в народ», арестовывались и ссылались под надзор, бежали в Америку, где в штате Канзас пытались построить коммуну на принципах Фурье. Затем В.И.Алексеев стал учителем старшего сына Л.И.Толстого Сергея, подружился со Львом Николаевичем и спас его «Евангелие» для мировой культуры, за ночь переписав единственный экземпляр, который впоследствии переправил в Париж. Имение моего деда Ивана Ивановича Высокое Ельницкого уезда Смоленской губернии советская власть не тронула, мое раннее детство прошло в нем и, вспомнив все это, я решил сделать большую семью провинциальных дворян Алексеевых героями задуманного романа, изменив — для свободы маневра — их фамилию на Олексиных. В то время еще жива была моя матушка и ее сестра тетя

Таня. Я подолгу расспрашивал их о дедах и прадедах, о их детстве и юности, что в конечном итоге и послужило основой для работы над романом «Были и небыли».

Название предупреждало, что автор, основываясь на фактическом материале («Были»), допускает и художественный домысел, поскольку пишет не историческую монографию, а исторический роман. К примеру, таковым является вся линия Романа Трифоновича Хомякова, русского промышленника-самородка, в образе которого автор попытался обобщить черты многих представителей зарождавшейся русской буржуазии.

Консультантом моего первого исторического романа, к моему счастью, согласился быть один из лучших знатоков дворянства Петр Андреевич Зайончковский. И, признаться, мне не удалось спрятаться за вымышленной фамилией Олексиных. Пригласив меня к себе после прочтения рукописи, он в дверях огорошил меня вопросом:

— Откуда вы знаете историю братьев Алексеевых?

— Внук, — невразумительно пояснил я.

— Тогда вопрос снимается, — улыбнулся Петр Андреевич. — Следовательно, наши предки вместе выбирали предводителя дворянства. Я — из Вязьмы.

Роман ему нравился, и он помогал мне с азартом и удовольствием. Нравился он и еще одному известному историку, Натану Яковлевичу Эйдельману. Он позвонил мне по прочтении, похвалил, а заодно и предложил поинтересоваться еще одним, более отдаленным

предком, о котором я — правда, в общих чертах — знал с матушкиных слов. Этим предком был поручик Псковского полка Александр Алексеев.

Мой первый исторический роман был напечатан в журнале «Новый мир», имел добрую прессу, вышел отдельным изданием. А у меня осталось чувство не до конца исполненного долга. Я рассказал о своих дедах, но еще ни строчки не написал о своих отцах, жизненный путь которых оказался куда более тернистым. И, помечтав и помучившись, я стал готовиться к продолжению «Былей и небылей», но уже в иной исторической обстановке. Она требовала не просто фактических знаний роковых годов России, но и почти чувственного ощущения прежде всего ее беспощадной гражданской войны. Мучительные размышления в конце концов привели меня к определению основной идеи будущего сочинения: отцы собственными руками построили Дом, в котором мы живем и до сей поры. Дом на развалинах прежней России, щедро политых кровью ее сынов и дочерей.

Так, изнутри, что ли, возник замысел второй книги об Олексиных, за которой я оставил мелькнувшее в мечтах название «Дом, который построил Дед». Роман был напечатан в журнале «Октябрь», а одно из первых частных издательств «Инициатор» опубликовало его вместе с романом «Были и небыли» под общим названием «Господа офицеры». Но даже это не породило во мне тогда желания продолжить рассказ об Олексиных.

Я писал современные романы да публицистические статьи, но однажды ощутил вдруг, что черный век России подходит к концу. И тогда впервые подумал о том, что если XIX, Золотой век России, был благословлен рождением Пушкина, то XX — Ходынккой, когда погибло свыше тысячи человек.

А тетя моей матушки Надежда Алексеевна чудом уцелела в этой озверелой толпе и давке, о чем я походя упомянул в романе «Дом, который построил Дед». Ради этого эпизода уже был собран большой материал, я подобрал еще кое-что и написал третий роман о роде смоленских дворян Олексиных «Утоли моя печали». Его опубликовало издательство «Вагриус», роман был отмечен русско-итальянской литературной премией «Москва-Пенне», а весь тираж быстро исчез с прилавков.

Только тогда я сообразил, что у меня получилась некая «Сага об Олексиных». Серия романов о столетней истории одной семьи, а точнее — столетняя история возникновения, торжества и гибели русской дворянской интеллигенции. В ней не хватало только начала, первого тома «Саги». Я вспомнил о совете Натана Эйдельмана, стал звонить пушкинистам, подбирать материал и... и бороться с собственной робостью, поскольку одним из ее героев должен был стать Александр Сергеевич Пушкин. И все время, днем и ночью думал, каким же был приятель Пушкина, мой прапрадед поручик Сашка Алексеев...

И вот тут... мне приснилось название: «Картежник и бретер, игрок и дуэлянт» — и я

представил себе своего далекого предка живым. А в первом томе русской «Военной Энциклопедии» нашел портрет его отца, героя Отечественной войны 1812 года генерала-майора Ильи Ивановича Алексеева. Отца Александра Алексеева и, стало быть, моего прапра-пра...

Я доволен своей работой — столетней историей моего рода. Не потому, что «моего», а потому, что, как мне кажется, это — самый значительный труд всей моей тридцатилетней писательской деятельности. Я отдавал должное не предкам своим, а лучшим представителям великой русской интеллигенции, которые и определили место России в истории мировой культуры. Новое время поет новые песни, но и из старых песен слова не выбросишь. Четыре романа «Столетней истории русского дворянского рода Олексиных» в пяти томах, по сути, превратились в историю отваги, чести и достоинства верных сынов и дочерей навеки канувшей в Лету России. Ее более нет и она никогда не возродится, но у потомков должен быть пример для подражания предкам своим.

Борис Васильев

От автора

Видит Бог, эти записки существовали. Мама мне говорила о них, да и я что-то припоминаю по первым ощущениям детства. Пожелтевшие

страницы старой-престарой бумаги, черные, местами выцветшие чернила, чужой, странный, почти нечитаемый почерк. В Смоленске, помню... а может, то было в нашем Высоком, у деда Ивана Ивановича?.. Не удержала этого память моя, мала была еще слишком. Во всяком случае ни в Москве, ни тем паче в Воронеже этих очень ломких бумаг я уже припомнить не могу. Сестра предположила, что, возможно, они так и остались тогда то ли в Высоком, то ли в Смоленске. Но по тем местам прокатилась война, и все наши семейные архивы пропали в ее огне.

А мама мне, помнится, что-то читала. То, что касалось встреч ее прадеда с Пушкиным. И что-то осело в памяти. Скорее, стиль, способ прапрадедовского видения, мышления и мироощущения, отразившиеся в записи. Это-то тогда меня и поразило: ощущения свои я, слава Богу, помню хорошо.

Великие войны и смутные времена — единственные провалы в историях народов, в яростной беспощадности которых горят даже рукописи. А ведь такой человек существовал на самом деле. Реально существовал: мне о нем говорил Натан Эйдельман, прочитав мой роман «Были и небыли», в котором рассказывалось о судьбе моих дедов — многочисленной дворянской

семьи Олексиных.

— Почему бы вам не подумать о своем прапрадеде? С ним приятельствовал Александр Сергеевич, доверивший ему на хранение запрещенные цензурой строфы из «Андрея Шенье». Любопытный был поручик, пушкинисты вам о нем расскажут.

Это был не просто добрый знакомец Александра Сергеевича, а мой родной прапрадед. Если бы не он, то и меня не было бы на свете: генетическая цепочка не признает разрывов и замен. А коли так, то я обладаю нравственным и моральным правом рассказать о вас, мой дорогой предок, все, что смогу. С искренней любовью и горячей благодарностью потомка...

«Записки» предварялись — вот это помню ясно, зрительно помню — написанными явно позднее (иной цвет чернил, почему я и запомнил) строками, обращенными к будущему читателю. К сыну, а возможно, и к внуку — далее автор, по всей вероятности, в поросль свою не заглядывал. Однако следует учитывать, что эти записки были прежде всего семейным сочинением, изначально не претендующим на широкую читательскую аудиторию. Вероятно, в старости предок перечитал написанное и, ни слова в нем не изменив (что он особо подчеркивает), счел все же необходимым кое

о чем предупредить своих потомков, почему я и позволил себе назвать это обращение «Предупреждением». Название и неточное, и какое-то казенное, канцелярское, что ли, но пред нами — документ, по самому жанру своему допускающий некую нетворческую, если позволительно выразиться так, терминологию.

Единственное, что я, поразмыслив, добавил, так это объяснение некоторых простейших иностранных слов и предложений, которые никакого перевода на русский язык когда-то не требовали, поскольку существовали в обиходе. Но то — в той, канувшей в Лету России. А в нашей, современной, подчас и русские слова переводить приходится...

Итак:

ЗАПИСКИ

Сбоку — другими чернилами — то, что я дерзнул назвать

«Предупреждением»:

Ad patres, дорогие мои, ad patres!

(«К праотцам». То есть «ухожу к праотцам, умираю»).

Скоро, очень скоро предстоит мне рапортовать Господу со всей искренностью и по всей форме, должествующей Последнему Параду. А посему, ревизуя дела свои земные, дошел я и до сих «Заметок», а перечитав их, за благо почел не трогать ни единого слова, ничего не прояснять последующими событиями и, Боже упаси, ничего не менять. Ни единого написанного когда-то слова, ни буквы единой. Не посягайте же и вы на Час Творения своего, в чем бы оно ни заключалось, в малом или великом, ибо не вам, не вам судить о сем. Не вам и Час тот принадлежит, но истории лишь одной, переписывать которую вы не властны, ибо нет большего святотатства, чем подгонять жизнь и деяния предков под сиюминутные свои интересы. Но дабы все вам было ясно и понятно, как ясно и понятно было мне, когда писал я сии «Заметки», я, с тщанием обдумав все, решился дозволить себе лишь разбить записи сии на части ради лучшего вашего усвоения и понимания и наименовать каждую такую часть соответственно своим собственным соображениям.

Итак, пред вами, младое племя мое, *curriculum vitae* («жизнеописание») предка вашего Александра Олексина.

О твердости незрелых груш и кислоте

незрелых яблок

Святки. И день пока не нужен

— Приказано сказать, что для вашего благородия их сиятельств навсегда нет дома.

От кого и когда я эту фразу услышал — потом. Все станет ясным потом, когда я сам начну соображать. А пока — примите как данность, ибо начал я со слов лакейского отказа в душевном стремлении своем. А die («от сего дня»), как говаривали древние. А die!

Поворотил я тогда от того дома молча и как бы в некоем трансе, что ли. Вскочил на Лулу, помчал... В нашу Антоновку, думаете? Как бы не так! В поля помчал, в леса помчал, аки фавн, коему в вакханалиях отказали.

Туман стоял не вокруг, а внутри. Первозданный туман: клубился, светился и одурманивал одновременно и единообразно. А снаружи — ох и добрый был морозец! Стало быть, внутри у меня — туман, снаружи меня — мороз. И я зачем-то на этом морозе тулупчик сбросил. Жарко мне, видите ли, стало, невыносимо жарко.

И опять — ни одной мысли в голове. Так,

обрывки. «Ах, приказано!.. Ах, со мной играть вздумали?.. Ах, неугоден стал?.. Ну, так я вам сейчас...»

А что — сейчас? Что — сейчас-то, когда туман внутри и одурманивает, и огнем жжет неистовым?.. А то, что ничего мне в голову не пришло, кроме как Лулу остановить, с седла в снег спрыгнуть, хлопнуть ее по шее горделивой и столь же горделиво наказ отдать:

— Скачи домой, Лулу, я в бездну ухожу.

Лулу ушла, хотя и фыркнула. Славной выездки лошадка была, послушна и ума хорошего. А я, видно, дурного, потому что тут же на снег навзничь упал и руки крестом раскинул. Нет, замерзать я, помнится, тогда не собирался, но нестерпимый жар пек изнутри, и я его решил гасить снаружи.

Ну представьте себе: утро, зима, заснеженные нивы, леса да перелески. Снег промороженный, сухой, как порошок, мягкий, как пух, и я — в той постели. Застелили мне поле, занавесили морозом и накрыли меня тишиной...

Сколько так пролежал, неизвестно, потому как холода не чувствовал совершенно. Ничего я тогда не чувствовал, кроме обиды раскаленной, да и не думал ни о чем, признаться. Может, час лежал

недвижимо, может, и более того, а только жар мой внутренний с внешним как-то уравновесился, что ли. И туман рассеиваться начал, и вместо обрывков в голове впервые мысль прорезалась: «А где я, собственно? Где люди, где Антоновка, где родительское гнездо, пращуром Опенками названное — в насмешку, что ли? Где мир людской и куда идти мне в мире этом?..» И я сел в некой вполне трезво возрастающей тревоге. И такой холод ощутил вдруг, будто один я одинешенек на всей Земле во времена великого оледенения...

А позади — вздох. Оглядываюсь — за спиной моя Лулу стоит. В инее вся. Серебряная. Не ушла, не бросила, не оставила замерзать одного середь зимнего пейзажа. Вздыхает, головой мотая, садись, мол, хозяин, пора уж и разум занять...

Расцеловал я ее морду, кое-как — заостенел на морозе-то — в седло взгромоздился и повод отдал, чтоб сама дорогу покороче нашла. И помчалась моя Лулу как бы без всякого моего участия, себя разогревая и меня спасая. И я за шею ее держался, а не за поводья, сообразив наконец, что давно заоченел до полного одеревенения всех членов своих. И домчала меня Лулу.

В результате — жар, бред, голова не моя и тело не мое. Но все — в теплом доме, в нежной постели, в людском окружении, заботе и внимании.

— Барин помирает!..

И вся дворня тихо по дому носится, меня, дурака, спасая. А кормилица моя, Серафима Кондратьевна, которую матушка мне подарила, когда я в Корпусе закончил, сурово, без охов и ахов, меня с того света вытаскивала. Велела Архипу врача привезти, припарки делала, примочки, отвары, настои. И ворчала:

— Ох и неслух ты, Сашенька. Ох и неслух, горе ты мое саженное.

Вытащила. А от вольной, которую я на радостях хотел вручить ей, отказалась наотрез:

— Да куда же я от тебя уйду, родимый ты мой? Я ведь мамка тебе, какая же у мамки от сына вольная может быть? Только от самого Господа воля ко мне придет, а так нет для меня никакой твоей барской милости.

Очухался я. Жар прошел, боль прошла, только кашель да усталость никуда пока уходить не собирались. Но читать они не мешали, и я книжками обложился.

Честно сказать, до этого случая читал небрежно. В детстве, правда, любил матушкино чтение слушать, а потом... Потом — Корпус, а там только уставы да наставления читают. Да разве что-нибудь пикантное. А тут с безделья начал да и увлекся. Велел из Опенков отцовскую библиотеку перевезти, все равно родители мои в Санкт-Петербург перебрались, вскорости после

того, как в Корпус меня определили. И в старом барском доме, еще прадедом моим построенном, сразу стало тихо, а бабушке с матушкой — скучно.

«Что есть книга? Книга есть питание души, аки хлеб — тела».

Это я на титульном листе «Истории двенадцати Цезарей» прочитал. Чернила уж поблекли, почерк вельми старый: кто-то из книгочеев-предков написал. Для меня, видно, и для детей моих. Завет роду всему нашему... Только надолго ли заветом останется? Или растворим мы его в картах, попойках, войнах, дуэлях да любовных утехах? Уж многие дворяне русские в сем растворились без осадка, очень многие. По Корпусу знаю.

А я — читал. Все подряд и на всех четырех языках: напичкали меня ими в детстве. Матушка в этом особую образованность видела, вот мне и пригодилось. И как же славно бы было, коли бы и потом, потом, в племени моем страсть сия не растворилась бы с горьким и печальным весьма осадком сожаления, но куда страшнее, если и без оного. Книга есть питание души, и нет у души иного питания...

Святки продолжались. Еще кто-то из предков

моих завел, чтоб мы на народные празднества не только не смели никогда покушаться, но чтоб участвовали в них непременно. Хороводы водили, угощения выставляли — сласти да орехи, в снежки играли, на тройках крестьянских девок и парней катали. И это, признаться, мне всегда нравилось. Не дружбы ради — какая уж там дружба! — а...» ради той памяти, что мы — их росток, — как батюшка мой говаривал. — Только солнышка нам побольше досталось, потому нам ввысь вымахать и удалось». Такая уж у него философия была. Утешительная.

А еще я тогда же, в постели лежа, писать начал эти «Записки». Сначала чтобы обиды свои выплеснуть, потом — для собственного удовольствия, а затем и для вашего. Нет, не удовольствия — необходимости для. Удовольствия не обещаю: не сочинитель. Но жизнь, кою проживаешь, сама — сочинитель. Почему и льщу себя надеждой, что не зря чернила изводил.

Да, так святки продолжались, и Серафима Кондратьевна, мамка моя и спасительница, мне как-то утром и говорит:

— Последний святочный денечек сегодня, Сашенька. Девки придут величать тебя.

— Вели конфет принести побольше.

— Ну уж, Сашенька. Не слишком-то привечай, благодарности народ подневольный не ведает.

— Давай, давай, — говорю. — А заодно и наливочки сладенькой. Пусть пригубят за мое здоровье.

Никогда мы конфетами молодежь не баловали, издревле так повелось. Но моя кормилица спорить не стала и принесла мне сластей целую корзинку. А вот наливки не принесла.

— Наливочки они со мной пригубят, не с барином же им ею баловаться.

Я тогда промолчал, потому как другое задумал в обход кормилицы моей. Тайное и сладостно гордость мою офицерскую щекочущее, но отложил до грядущего дня.

На следующее утро Савка, лакей мой...

...Написал вот, а перо само собой замерло. Нет, не лакей — с детства друг, приятель, вместе по полу ползали и ходить учились. Поверенный мой, во всех проказах поверенный и первый помощник, потому что Савка — мой молочный брат. Одним молоком мы с ним вскормлены, к одной груди вместе припадали, потому что сын он единственный кормилицы моей Серафимы Кондратьевны. Он мне — как Клит Александру Македонскому.

Это я вам, потомки, для памяти доброй записал. Чтоб дружбу ценили, о всех сословиях позабыв.

Да, так побрил меня Савка — легкая у него рука. Настолько легкая, что он тогда же по моему секретному указанию незаметно кошель с золотыми мне притащил и под подушку сунул. Серафиме Кондратьевне своей я, конечно, ничего о таком роде угощения не сообщил. Хотя почти что готов был в этом признаться, когда она на меня чистую рубаху с рюшами на груди и кружевными манжетами надела, поцеловала по-матерински и рюмку портвейну для здоровья с поклоном поднесла. Врач велел каждый день по три рюмки, и я вынужден был терпеть, поскольку давно уж иное для поправки здоровья своего предпочитаю. Но после портвейна ждать начал, признаться, с куда большим нетерпением. Ну кто же девичьи рожицы милые, румяные с морозца, с прохладным равнодушием ожидать способен? Разве что мраморные истуканы, коими в казенном Санкт-Петербурге весь Летний сад уставлен.

По шуму, смеху, щебету понял: явились. А по тому, как сердце забилося вдруг, по бравости, явственно ощутимой, сообразил, что здоровье мое вернулось в казарму тела моего в полном боевом расчете. Ну, думаю, всех сейчас увижу. Всех своих Лушенек, Грушенек, Нюшенек, Машенек, Полюшек... кого пропустил, прощения прошу. Все девы прекрасны в свои пятнадцать годочков.

А там и запели. Дому хвалу, хозяевам хвалу, а

молодому хозяину — отдельно — хвалу и славу. И с этой хвалой и славой ввалились ко мне в спальню.

А я так никого и не узнал, как ни старался. У кого корчага с дырой на голове, у кого — ведро со щелью, кто до самых глаз платком закутан. Поди разберись, кто Глаша, а кто Даша. Ай да хитруньи!

— Ну, — говорю, — спасибо вам за визит да поздравления. А теперь пора и личики ваши мне показать.

Какое там! Смеются серебряными колокольчиками, приплясывают, поют, танцуют...

Танцуют, сказал?.. Случайно вылетело, потому что одна — тоненькая, невеликого росточка, в каком-то берестяном цилиндре с прорезями для глаз, и впрямь танцует, а не пляшет, как остальные. Улавливаете разницу? Danse («танец»)! Я, например, разницу сразу ощутил: по-другому плясунью эту учили. И в деревне я, признаться, ни разу еще не видел, чтобы девушки танцевали. Пляшут — да, все пляшут. С притопами и прихлопами. Отменно пляшут, с огоньком, ничего не скажешь, но чтоб фигуры, коим только танцмейстеры с детства учат, — такого я в своих деревнях еще не видывал. Такое и представить себе невозможно, потому что до сей поры никакому сумасброду и в голову не приходило учителя танцев из Парижа для своего села выписывать. И

поэтому барышни в России танцуют, а девушки — пляшут, вот ведь каким образом природное девичье обворожение исстари у нас уравнивается. Да никакая маменька соперничества своей родной доченьке не потерпит, потому как девичью грациозность по наследству не передашь и никаким барским повелением не введешь в лично принадлежащем тебе поместье: в женском шарме природа — госпожа. А тут шарма — не всякий мужчина выдержит с покоем и хладнокровием.

Я смеюсь, им подпеваю, конфетки щедрой рукой разбрасываю, а сам глаз с танцующей крестьяночки этой не спускаю. Все правильно, и ручки с кокетливой элегантностью в воздухе арабески рисуют, и ножка на носочке поворачивается, и головка не дрогнет, а лишь грациозно этак клонится от плечика к плечу, и поклоны как в менюэте... Откуда ж ты, прелестное создание?... Коли не из моей девичьей, так завтра же в ней непременно окажешься, когда дознаюсь, откуда ты сюда явилась...

И тут вдруг будто просветление снизошло.

Да оттуда, откуда меня на третий день Рождества лакей выставил по графскому указу, откуда же еще? Аннет, чертовка, это же ты. Ты!.. Прознала, видно, что я в горячке, и решила... Что — решила? Соображай, Сашка, соображай, сукин

сын!.. Добить окончательно или... или навестить по сердечному беспокойству и благорасположению своему? Да навестить, разумеется, навестить и тем игру свою продолжить!.. Ладно, думаю, сейчас проверим.

— А ну, — говорю, — девы распрекрасные, одарите меня, болезного, поцелуями своими на прощанье!

Девыцы захихикали, зашушукались, засмеялись, но в очередь выстроились. И предполагаемая Аннет с ними. Но не в голове стала и не к хвосту примкнула, а застенчиво и мило — в серединочке спряталась. А все целуют, губки из-под бастионов головных высвобождая. И я каждой поцелуйнице золотой на память вручаю.

И до танцорки дело дошло. Правда, я ей не только золотой вручил, я ей и на ушко прошептал:

— *Coup de maotre* («мастерской прием»), Аннет. Теперь очередь за мной.

Думаете, сказала что-нибудь в ответ? Ровно ничего. Ни словечка. А золотой — взяла. Она золотой взяла, а меня — оторопь: похоже, сильно я промазал со своими лестными догадками. Никакая она, разумеется, не графская дочь, а всего-навсего заскучавшая в унынии псковском чья-то гувернанточка. Может быть, той же Аннет. И я, болван, клюнул, как отощавший за зиму пескарь на дохлого червяка. То-то всласть посмеются они

сегодня...

Вот как моя болезнь то ли закончилась, то ли началась с иными тяжкими осложнениями. Бог весть, где проживает «наше не пропадало», Бог весть...

Дальше писать буду и как есть, и как было, и что в голову придет. Последовательность — тоска педантов, а не одураченных девицами поручиков гвардии. Так-то. Вот из этого постулата исходя, и разбирайтесь сами, ни на йоту не сомневаясь в искренности вашего покорного слуги.

Мщения душа жаждет. Мщения!..

10-го марта

День — либо счастливый, либо никакой. Как говорится, либо банк, либо пуля в лоб.

Это я написал утром. Признаться, с дерзкого похмелья, ибо накануне поставил не на тот угол. И ведь был же голос в душе, был! Но я ему не внял. Месье Шарль был прав, когда долбил меня, как дятел: «*Mon cher ami, if vous encore trop jeune* („Дорогой друг, по юности своей“) вы никак не научитесь слушать себя, и ваш рара напрасно тратил на меня свои деньги».

Но все — за барьер! Вчера из графа вылетело признание, которое дороже проигрыша...

(Кстати, не забыть сказать Архипу, чтобы договорился о продаже Гнилого Зауголья, пока лежит снег. Провернем сделку, снег растает, и господин Поклюев обнаружит, что вместо заливного луга приобрел болото с незабудками, но — «вы так просили меня продать вам именно эту гипотенузу...»).

Следует о графе рассказать, как я себе его представлял. Иначе, боюсь, непонятым станет мое и его поведение. Выпады наши непонятыми рискуют оказаться, поскольку все наше взаимное общение уж очень походило на этакое полуучебное, полубоевое фехтование. Выпад — укол — выпад — укол. Ну, и так далее, как в учебном поединке.

...Написал и — засомневался: а в учебном ли?..

Мой батюшка давно поддерживал с ним приятельские отношения. Не скажу, что дружеские — оба были хорошими ежами, — но вполне искренними и даже теплыми отношения выглядели.

И не только потому, что именами они соседствовали, нет. Служили в одном полку когда-то и были ранены в одном сражении. Под Бородином они были ранены. Оба — тяжело, и оба в полдень.

А мне граф с детства казался представителем совсем иных времен. Времен Екатерины Великой, с ее совершенно особым двором, знаменитыми полководцами, отчаянными рубаками, фаворитами, куртизанами и прочее, и прочее, и прочее. Батюшка почему-то не казался, а он казался. Настолько, что я порою видел его в туфлях на высоких красных каблуках, как носили щеголи во времена Матушки Екатерины. Разумеется, то всего лишь моим видением было, поскольку граф одевался всегда в полном соответствии с модой вполне современной, но не в том суть.

Насколько мне было известно как из светских сплетен, так и из домашних разговоров, графу не очень-то везло в личной жизни. Первая супруга его померла при родах, так и не сумев разродиться, он долго горевал, не мог ее забыть, поэтому вторично женился поздно, а ребенок родился еще позднее. Один-единственный, крещенный Аничкой. Мой отец тоже женился уже в возрасте, я — тоже единственный ребенок, но я оказался даром упорной и светлой надежды, а графинюшка Аничка — утешительным подарком отчаяния.

Весьма возможно, что граф и невзлюбил-то меня именно вследствие неожиданного каприза судьбы. Насмешливо именовал *petit-maotre* («щеголь, франт, вертопрах»), причем прилюдно (весьма был откровенен и чудовищно гордился своей откровенностью), смотрел поверх головы, и я всегда подозревал, что причиной этому служила некая воспаленная ревность, что ли. Ну сами посудите: у старого приятеля-сослуживца — сын, продолжение рода, а у него, графа, — дочь, знаменующая конец его древней и весьма известной истории нашей фамилии. Чувство вполне понятное и вполне объяснимое, почему я и не называю даже имени его, не говоря уж о фамилии, которая самой судьбою обречена была кануть в Лету...

Да, так о графском откровении. Вдруг — задумчиво этак, будто в растопыренных картах вычитал:

— Утром, господа, мы с графинюшкой на три дня отъезжаем к Шелгуновым. *Votre invitation* («приглашение»). Так сказать, гран-суаре старых друзей. Я сказал — «старых»? Иногда во мне прорывается что-то искреннее, как первый заморозок. Мечу абцуг (по две карты одновременно), как и условились.

«А ваша очаровательная дочь Аннет?» — хотел спросить я, но не спросил и правильно

сделал.

В Корпусе что-то толковали об огромном значении великого молчания не менее великих полководцев. За меня спросил этот хлыщ Засядский:

— А ваша очаровательная Аннет?

В доброй мужской компании всегда сыщется дурак. Надо только вовремя промолчать и сделать вид. Я промолчал и вид сделал, и Хлыщ спросил то, что желательно было узнать мне. Спросил, спотыкаясь на каждой букве, как пьяный отставной полковник в гололедицу. Но граф (как Хлыщ произносит титул всего-то из четырех звуков? Кажется, «хгьяфь», если не еще музыкальнее...) понял. И, глядя в карты, проворчал:

— У нас то ли краснуха, то ли белуха. Словом, какое-то разноцветное заболевание.

«Аннет дома, дома, дома!..» — стучало мое сердце, и я от столь обещающей новости загнул не тот угол...

(Сбоку — приписка:

— *Не забыть сказать Архипу о Гнилом Зауголье...*

)

Итак, этим утром, выпив для аромату бокал

густого, как июльская ночь, старого портвейну... не люблю, но иногда приходится... велел подседлать Лулу — почему-то я чувствую себя увереннее, когда скачу на незваные свидания именно на ней: из трех три, господа, из трех — три!.. — и помчался к дорогим соседям.

Необходимо было увидеть графский выезд. Граф себе на уме, а не мне, не вам и уж тем паче не партнерам в ланд-скнехт. Стоял в кустах, сидя в седле, — то ли русский язык допускает такой оборот, то ли это перевод с тех языков, которыми меня нафаршировали в детстве, не знаю, но потом-ки разберутся. Лулу молчала, а я, признаться, мерз, как кот на ветру.

...Кстати, для потомков. Официально я холост и бездетен, но цыганка в таборе под Кишиневом нагадала мне сына, а ведь никто из нее этого пророчества червонцем не тянул. Так вот, для предсказанного цыганкой наследника: у тебя уже есть по крайней мере один братец, который мне известен. Младше меня, его родителя, на четырнадцать лет. Естественно, Иван: манера называть бастардов Иванами придумана не нами, но логика в этом есть, поскольку им совершенно незачем помнить о родстве своем. Этаким здоровенный бутуз, весь в маму Лушу. Батюшка мой выдал ее за своего камердинера Матвея, дав в приданое куда больше того, что способно отшибить удивление, каким же это

образом первенец умудрился родиться на шестом месяце после первой брачной ночи. Не забудь о нем, сын. Наша кровь, олексинская...

А тут и графский поезд промелькнул. *Vonpe route* («счастливого пути»), графинчики!.. И я помчал застоявшуюся Лулу в старый барский дом...

Любопытно все же, почему нас тянет именно к этой юбке, а не, скажем, к соседней, облегающей куда более прелестные формы? Мистика, господа, мистика и судьба в паре, дружно задыхаясь, влачат нашу русско-татаро-монгольскую кибитку по бездорожью юдоли мирской...

Помнится, наш полковой враль и философ Мишка Некудыкин как-то рассказывал, что в детстве за шалости был сослан «к тетке в глушь, в Саратов». Старой одинокой карге, скупой, как дочь Шейлока: Мишка уверял, что она выдавала ему ровно одно яблоко на день, обладая тридцатидесятиным садом... Тут, разумеется, Мишка минимум десятикратно загнул, что всегда являлось свойством натуры его. Да, так в теткинском саду он, что вполне естественно, рвал те же самые яблоки, сколько душа требовала, прямо с деревьев, надкусывал, бросал в поисках более сладкого и однажды был застигнут за этим научным опытом.

Тетка вопила, до розог дело, правда, не дошло, но Мишку заточили в кладовку. Он там орал и требовал свободы согласно Высочайшему Уложению о правах российского дворянства, но услышан не был. Тогда — шустрый малый, прямо-таки *enfant terrible* («ужасный ребенок»), надо признать, — от обиды и томления души он разобрал перегородку, в поисках свободы проник в соседнее помещение, где и обнаружил целый склад многолетнего, выдержанного, как доброе вино, полужасохшего варенья. «Полагаете, господа, что я утолил свою страсть к сладкому? Ошибаетесь, я утолил жажду мщенья. Я вскрывал банку за банкой, пробовал и отставлял в сторону в поисках иных вкусовых ощущений. К вечеру со мной приключился жар, что меня спасло от всех видов наказаний, а заодно и вызволило из ссылки. Пробуйте, господа, всегда пробуйте, при малейшей возможности пробуйте!.. Старость наступает только тогда, когда вам уже не хочется ничего пробовать...»

Так, может быть, мы просто пробуем, надкусывая яблочки в поисках наиболее вкусного?..

Однако данное рассуждение к Аннет совершенно не относится: груша яблоку не товарищ, особенно в юную пору. Вам ведь и в

голову не придет незрелую грушу пробовать: зубы сломаете, настолько тверда она и как бы чересчур уж своеобразна. А зеленое яблочко — да с полным удовольствием! Ну кислятина, ну скулы сведет, ну оскомину набьете, только на Руси рвали яблочную зелень, рвут и рвать будут всегда, пока сама Русь стоит. Что-то есть в этих зеленухах, русской душе необходимое прямо позарез...

Так вот, Аннет была скорее грушею, требующей для гурмана полужимней выдержки в домашних стружках. Но жило в ней что-то языческое, что-то от яри дохристианской, что ли. Словом, зацепился гусар усом, лихо закрученным, как говаривали в нашем лейб-гвардии конно-егерском полку. Зацепиться-то зацепился, а получил афронт. Да еще публично. На Рождественском балу у губернатора, когда на нас, молодых да при усищах, высыпали разом все отдохнувшие после экипажей девицы. И Аннет, коей я, как сосед, был своевременно представлен и с коей премило перемигивался, направляется прямо ко мне. Улыбаясь на все зубки и задорно задрав носик. Я, естественно, низко раскланиваюсь в радости, что отмечен первым, она, естественно, приседает в глубоком реверансе, демонстрируя не столько прелести свои, сколько носик, на кончике которого приклеена порядочная мушка цвета перезрелой вишни. «Поздравляю, — с ехидством

этаким шипит мой не в меру полноватый цивилизный сосед. — С носом вас, поручик, по всем статьям, с большим носом!..» Я не желаю верить, но мушка исчезает уже перед вторым поклоном, как будто ее и вовсе не было на кончике милого носика. Опять не желаю верить, иду на abordаж перед контрдансом с нижайшей просьбой пожаловать мне мазурку. «Ах, ах, поручик, какая жалость, но у меня расписаны все танцы! Рекомендую, пока не поздно, обратиться к Лизель...» А Лизель — дылда на пять пудов уже в шестнадцать лет.

...Драгоценный потомок мой! Сын ли, внук ли — мне неведомо, да и не суть это. Чтобы ты не бегал к бабушкам за разъяснениями, я сам растолкую, в чем тут загвоздка, если в ваше время моды решительно переменились. А суть в том, что в наши времена мушка на левой щечке обозначала «горячность страсти», меж бровей — «соединение симпатий», посреди лба — «люблю безумно, твоя, твоя, твоя!», а вот на кончике носа — «отказ». Полный афронт. И милые дамы наших дней несли свои мушиные знаки прямо к «предмету», демонстрировали их и тут же ловко смахивали. И далее следовали как ни в чем не бывало.

Ну что на это сказать? Напился я от полноты оскорбленных чувств и, зыбко помнится, орал в

каком-то трактире, что-де все одно моею будешь. А на следующий же день, еще не проспавшись толком, разлетаюсь к графинчикам, вхожу в особняк, румяный с мороза и довольный собой. «Поручик Олексин. Доложи немедля». А мне: «Принимать не приказано». «Как?! Ты глаза протри, я же сосед любезный. Бригадира, графского приятеля, сын единственный!..» А мне: «Приказано сказать, что их сиятельств навсегда нет дома».

Полный афронт. Поворотил я молча и как бы в некоем транс румяным дураком. Вскочил в седло и помчал, помчал...

(Сбоку — приписка:

— Смотреть следует в начало и далее — подряд. Так уж получилось...)

Что мщению моему помогло? Карты. Граф был азартен до трясушки, а мне, когда надо, всегда не та карта шла, и поэтому за зеленым сукном он меня терпел. И я его терпел, поскольку твердо решил не оставаться в дураках. И заранее сунул несколько ассигнаций прислуге. Толстой, жадной, а главное — глухой, как тетерев, когда обстоятельства глухоты требовали.

— Аннет, как перед Богом — ты навещала меня, когда я в горячке свалился?

Она улыбнулась... Ах, как она улыбнулась, господи, как улыбнулась! Засветилось все вдруг окрест. Даже, по-моему, лес зимний и тот листвою зашумел... Да, улыбнулась таким именно манером, на одну пуговку расстегнула на груди пеньюар цвета зари майской, потянула за цепочку и показала мне мой же, ей подаренный золотой, к которому уж и ушко припаяно было...

О милых дамах — либо хорошо, либо ничего. Было краткое: «Ах!..», и дева сомлела. Потом, правда, разомлела, но я вовремя дал тягу.

Ну и для чего я это записал? Да того ради хвастовства, что в дураках нас, Олексиных, пытаться оставить — себе дороже, господи. Себе дороже!..

(Сбоку приписано другими чернилами: Судьбы человека записаны в Книге Судеб. И моя — не исключение.)

Марса, 12-го дня

Думал, что дал тягу, но тяга-то как раз и

осталась. И какая!.. Еле сутки выдержал, зубами скрипел, о дверь лбом бился, хотел уж просить, чтоб заперли меня. Ночь не спал, а с рассветом помчался в одном шелковом бешмете. И Лулу несла меня, как в атаку...

Признаться вам, что был на вершине блаженства? Ах, господа, господа, насколько бедным и пошлым оказывается язык наш, когда так хочется быть искренним безмерно! Сказать — «я люблю»? Мало, мало и еще раз мало! Я потерял и нашел себя одновременно, а это ли не состояние полного счастья? Это ли не познание, что в объекте любви вашей вы неожиданно обнаруживаете всех безмерно любимых вами женщин сразу? Вы открываете в ней и хрустальный родник страсти вашей, и нежность сестры, и великую заботу матери. Троица ваших самых главных, самых затаенных и вечных женских идеалов вдруг обнаруживается вами в одной, одной-единственной, для вас созданной Богом отраде. Вы нашли! Вы готовы орать на весь мир, что идеал — тот, смутный, совершенный идеал женщины, заложенный с детства маменькой, сестрами, няней, — найден вами, ответил вам любовью, нежностью, пронзительным пониманием и заботой и глядит на вас счастливейшими, полными слез глазами, потому что вы тоже вдруг оказываетесь идеалом. Ее идеалом. Со всеми вашими лошадьми,

пистолетами Лепажа, охотой с борзыми, бокалами вина, трубками, картами и храпом по ночам...

— *Fidelis et fortis* отныне девиз твой, мой рыцарь. *Fidelis et fortis* — на всю нашу жизнь.

— Верный и смелый. На всю жизнь запомнил.

...Верный и смелый, fidelis et fortis. И вы запомните, потомки мои. На всю жизнь запомните!

— Душа моя, ты мог простудиться. Ты же совсем недавно горячку перенес, а прискакал — в одном бешмете...

— К тебе я скакал. Ты — сила моя и здоровье мое. Ты, Аничка моя, жена моя, счастье мое...

Слеза с усов свалилась и чернила размазала. Ей-Богу. Четыре раза под дуэльными стволами стоял, а такого волнения не чувствовал. Кажется, я начал жить, господа. Не бессмысленно существовать, а считать минуты до свидания с тобой, любовь моя...

— Сколько ты не был на службе, душа моя?

— Девять ден сверх отпущенного. Не беспокойся, ангел мой, я рапорт напишу, что

заболел, и не солгу в нем ни на полслова. Я ведь и вправду заболел. Радугой твоей заболел. Краснухой, белухой, зеленухой — что там еще в твоей палитре?..

— Отец не даст нам свидания и рассвирепеет еще больше, если ты станешь его просить. Расстанемся на месяц, душа моя, хоть и слезами горячими обливается сейчас мое сердце. Я все расскажу маменьке, она поймет и объяснит отцу. А тут приедешь ты и...

Я спорил горячо, я умолял ее, я заклинал ее нашей любовью, я находил неотразимые аргументы, но все было тщетно.

— Докажи свой девиз, мой рыцарь. Докажи свой девиз.

И она права, господа, права. Граф должен откричаться, отплеваться и отрыкаться пред первым появлением жениха...

Марса, 22-го дня

— Эскадрон, слушай команду!..

Опять я на плацу. Прислали неумех из деревень, пять лет им вдалбливали уставы и наставления, армейский порядок и команды, но для того, чтобы сделать из них конных егерей, еще лет пять понадобится, никак не меньше. Два года их грамоте учили, как положено, по четыре часа в

день. Нужное дело, очень нужное, однако мне, эскадронному, от этого не легче.

— Подтянуть стремяна всем, кроме головного!.. Учебной рысью... ма-арш!..

Нас тоже в Корпусе гоняли. Так гоняли, как солдатикам и не снилось. Ночные тревоги — два-три раза в месяц, и всегда в разные дни недели, чтобы мы не вычислили их заранее. А спать давали мало: летом — шесть часов, зимой — на полтора часа больше. И только разоспишься, бывало, вдруг — рев:

— Тревога!..

Вскакиваем, спросонья лбами стучаясь. Кое-как мундир напялишь и — бегом-бегом! — в строй. Лошадей по ночам не будили: их, видите ли, командиру жалко было, а нас, мальчишек, — нисколечки.

— Пеший по-конному! С места, рысью... ма-арш!..

Старший воспитатель наш капитан Пидгорный и впрямь на учебной рыси трясется в привычном седле, а мы грохочем ботфортами по мерзлой земле. Одной правой рукой отмахиваясь, поскольку левой приходится палаш придерживать, чтобы он в сонных ногах не запутался. Только приноровишься...

— Эскадрон, слушай команду! Учебным галопом!..

Это значит — вприпрыжку. Скачем вприпрыжку: мы же не дети дворянские, не люди даже. Мы — лошади...

И скачем, как лошади. Пот — градом. Я однажды не выдержал да и заржал, вдруг жеребцом себя ощутив. Двое суток карцера — на хлеб да воду. Доржался...

Вот тогда и решили мы наиболее злостному мучителю нашему капитану Пидгорному отомстить. Обидно нам стало: он-то — верхом на коне, а мы — на своих двоих. Он, когда дежурил, в отдельной комнате флигеля ночевал. Отмучает нас месяц, потом на неделю к семье на отдых отъезжает, а на его место — другой, потом — третий, но эти как-то почеловечнее были. Отдыхать во время скачек наших безумных позволяли, а шутки смехом даже приветствовали:

— Молодцы, кадеты! Не унывать!..

Капитан Пидгорный совсем из другого теста испечен был. За что и поплатился.

...Впрочем, кто больше поплатился, признать весьма затруднительно. Весьма...

Денщиком у мучителя нашего капитана Пидгорного старый унтер служил, большой любитель выпить. Задумав мести мучителю нашему, мы с того начали, что раздобыли дегтю, развели его скипидаром пожиже и в складчину купили штоф особо забористой водки. Сургуч отбили, пробку аккуратно вытащили и добавили туда маку, из булок его наковыряв. Нам на ужин булки с маком давали, чтобы мы засыпали покрепче да поскорее и снов, вредных для возраста нашего, не смотрели по ночам. Да, добавили в штоф маку, заткнули пробкой и снова залили сургучом. Настояли несколько дней, а потом преподнесли унтеру, для того якобы, чтобы он глаза на наши карточные игры прикрыл. Он глаза прикрыть обещал, мы в разведку Андрюшу Корнева отправили — ловкий да проворный мальчик был, насмерть разбился, неудачно из седла вылетев на препятствии вскорости после этого, — и Андрюша доложил, что унтер штоф тот до конца опростал да и свалился в храпе сотрясающем.

Вот тогда и настал наш час. Меня в диверсию ту не включили, слишком уж громоздким посчитав, но я с Андрюшиных слов все знаю в точности.

Капитан-мучитель крепким сном отличался, и об этом уж мы давно проведали. Да и чего ему было сладко не спать: унтер — проверенный, растолкает, когда надобно. А унтер в ту ночь нами в

командировку в объятья самого Морфея был свое-временно отправлен, и путь таким образом оказался почти открытым настежь. «Почти» потому, что капитана, не дай Бог, могла блоха не вовремя укусить или присниться что-либо беспокойное вроде прелестной девы или супостата с клинком окровавленным.

Но ничего особо волнующего ему, видать, не приснилось, и избранная нами тройка во главе с Андрюшей не только безопасно миновала прихожую, в которой унтер храпел, но и пронесла ведро с жидким дегтем в самую обитель капитана. И беззвучно перелила этот деготь в оба капитанских ботфорта. После чего столь же беззвучно вынырнула во мрак ночной.

Вот тогда уж моя очередь настала. Пока соратники мои отважные от дегтярной улики избавлялись, я возле конюшен стожок гнилой подстилочной соломы поджег. Ни за что бы не поджег, если бы заранее под него добрую охапку сухого сена не подсунул. Но я своевременно подсунул и своевременно поджег. А пока разгорался стожок, успел до казармы добежать, раздеться и под тощее одеяло нырнуть.

Раздымился стожок тот на славу. И когда дежурный конюх, нюхом дым почуяв, а ушами — что лошади заржали тревожно, сообразил, выбежал да и заорал: «Пожар!...», мы тут же все раздетыми

во двор высыпали:

— Горим!.. Караул!.. Пожар!..

Орали так, что капитан не мог не проснуться. А проснувшись и сразу уразумев, что и вправду дым возле конюшен, с ходу, как привык, обе ноги одновременно, по-кавалерийски сунул в ботфорты...

Стожок тот мы сразу же и потушили, как только вопль капитанский наших ушей достиг. Мщение состоялось, виновных не нашли, но месяц нам покоя не давали. И пеший по-конному, и конный по-пешему, и прусский шаг на плацу, и побудки не ко времени, и бешеные скачки без седла через все мыслимые препоны — все было.

Вот тогда-то наш Андрюша и погиб на препятствиях...

...Мщение — дурное, неподобающее благородному человеку занятие. Бессмысленная сумма злобных обид души вашей, внутренним ядом травящая, потому никогда и не копите никаких обид. Никакое зло не стоит того, чтобы нянчиться с ним, лелея в душе своей. Добро следует помнить, хранить его и с ним жить. С добром, а не со злом. И уж тем паче не с мечтами о мщении. О любви, мире да согласии мечтайте всегда, дети мои, и потомство ваше будет веселым, добрым, спокойным и здоровым. Уж простите

старика за нудное нравоучение, но друга дорогого я на сем мальчишестве потерял...

Служу, будто пудовые вериги таскаю, только в комнатенке, что снимаю у почтеннейшей Марфы Созонтьевны, душой отдыхая. В Офицерском собрании не отдохнешь: зубы стискивать приходится, слыша разговоры приятелей. Шесть пошляков на пять подпоручиков и четыре — на столько же капитанов. И как я раньше не чувствовал этого? В разговоры их не вслушивался, что ли? Нет, и слушал с жадностью, и сам был рад поведать что-нибудь этакое, позабористее, с перчиком. А теперь — ну надо же! — улыбаюсь, как удавленник, и зубы сжимаю, чтоб не заорать: «Да как же вам не совестно, господа офицеры? Да о маменьках своих вспомните, в муках вас выносивших!.. О сестрах своих невинных, в вас идолов со младенчества видящих!..» Но — молчу. Презираю себя за молчание свое и — молчу.

Потому молчу, что Аничке слово дал молчать. В офицерской среде истари слово к пощечине приравнивается, и тут уж барьера не миновать, коли что необдуманное брякнешь. Но не барьера я боюсь — никогда, слава Богу, я его не боялся, — я слово нарушить боюсь, вот ведь какой камуфлет получился неожиданный...

...— Душа моя, обещай мне, что не будешь рваться к барьеру. Ты уже доказал свою отвагу.

— Аничка, честь офицерская...

— Осиротишь меня и погубишь, Саша. Я уже тебя вы-брала, и замены этому и во всем свете не сыскать.

— А наша честь с тобою?

— Подумай сперва, Сашенька, солнышко мое, свет ты мой единственный...

Подумал. И слово дал, не каменный. И девиз, коим Дульсинея моя меня наградила, помню. И — покуда держусь.

Ах, как дни тянутся! Боже ж ты мой, как они канительно тянутся. Прежде, бывало, вскачь неслись.

Даже в карты стал играть по-иному. Не то чтобы осторожничать — кураж поймал, тут уж не до осторожности! Но так играть стал, будто за спиной у меня — семья. Жена ненаглядная моя, дети милые. Спиной их ощущать начал, даже оглядываюсь иногда...

— Что это вы вертитесь, поручик? Вы в карты свои глядите.

— В свои я всегда поглядеть успею, майор. Мне бы ваши узнать желательно.

— Наглец ты, Сашка. И помрешь наглецом.

— Только бы не...

Перестал я, Аничка, такие фразы рифмой завершать, помня глазки твои умоляющие...

— Дама моя — всегда червовая, господа. Полста рублей.

— Бита. Не твоя червенная дама сегодня, Сашка.

— Ан и нет, всегда. Две сотенных на нее же.

И что вы думаете? Банк срываю. Грошовый, правда, банк.

— Ну, везет Олексину! В первом круге отыгрался...

— Если бы отыгрался. Опять у меня полста увел, подлец...

...Чтобы знали вы, далекие потомки мои, игроки делятся на три разряда. В первом разряде — мыщачие: обремененные семьей, скупостью своею или собственной, от природы данной нерешительностью. Играют с осторожностью и — по маленькой в полном равновесии с собственным куражом: плюс-минус червонец за весь вечер. Попоек избегают (ну разве что за чужой счет), бесед складывать не умеют, читать не любят, а время как-то убивать приходится.

Разряд второй — молчалий: волки. Играют только ради выигрыша, на который и живут. Толк в

игре понимают, а наипаче того — самих игроков. Не чураются и передергиваний, коли куш велик, а карта не идет. И колода у них в подборе, и пятого туза, когда надо, из-под манжета вытянут, и ненужную карту обшлагом прикроют. А уж коли за руку поймали, так только, господа, не к барьеру! Только не к барьеру! Бейте от души, хоть подсвечниками бейте. И бьют их регулярно по всей России, а что толку-то? Не переводятся они, как клопы. Так что и на вас мерзавцев этих, дети мои, вполне достанет.

А третий разряд — рычащий. Пленники азарта своего. И выигрышам рады, и проигрышем не весьма огорчены: сам азарт питает их силою своею. И только его ради и садятся они к ломберным столам с горящими глазами и великим нетерпением. Здесь судьба и нервы взвинтит, и улыбнется вдруг, и вокруг пальца обведет, когда не ждешь. А кровь твоя бурлит, сердце бьется, ты — живешь, и море тебе по колено! Здесь — кипение страстей человеческих, здесь испытание чести твоей, здесь игра королей, а не валетов, как в первом разряде, и не шестерок, как во втором.

Премудрость сию мне впервые Александр Сергеевич Пушкин поведал. В Кишиневе, когда мне едва осьмнадцать минуло. «В этом тоже своя поэзия, Сашка, — втолковывал мне он. — Экзамен страстью рока своего...»

Потому и невмоготу мне вскорости стало

лениво и бесстрастно в картишки перебрасываться в разряде первом. Я уж и ставки поднимал, и ради куража ва-банк объявлял при полном лове, но гнилой костер и порохом не подожжешь. И — затосковал я. По настоящему азарту затосковал, по тому, который Александр Сергеевич с поэзией на одну доску ставил. И — грешна душа человеческая! — не сдержал собственной клятвы. Обещания собственного не сдержал. Прощения у Анички в душе испросил и вернулся в разряд рычащий.

— Сашка!.. — заорали бравые новгородские конноегерцы (я тогда в том полку лямку тянул). — Уж слух прошел, что тебя твой батюшка-бригадир наследства лишить обещался?

— Верный слух, — говорю. — А потому — по банку с ходу. Кто держит? Ты, Затусский?

— Я, предатель братства нашего, я.

И что вы думаете? Срываю банк, едва за стол усевшись. А в банке — без малого тысяча рублей ассигнациями. Но голова не закружилась, потому что закон знаю: коли давно не рисковал, судьба твой риск благословит. Она потом отыграется, когда тебя в свои объятия заполучит со всеми шпорами твоими. Осмотрительности лишив, голоса внутреннего, а порою и здравого смысла.

Ах, какая игра была! Восторг, шум, крик, страсти, извержение Везувия, за шампанским три

раза посылали. Но в тот вечер судьба ко мне благосклонной оказалась, как никогда до-селе...

И я от благосклонности этой малость самую размягчел. Удила отпустил, вольную душе выписал и на штурм банка бросался порою и без малейшего шанса, единственно на удачу уповая. Рисковал безумно и безмозгло, как никогда доселе не рисковал, и на третий вечер проигрался до дыр во всех карманах. Все, что до сей поры выигрывал, — проиграл, свои деньги, что были, тоже проиграл, а сверх того — еще семь тыщ. Дал слово подполковнику Затусскому, что в десять дней верну до копейки, и наутро поплелся к командиру нашего лейб-гвардии Новгородского конно-егерского. Или, как его в других полках называли, «картежно-ернического».

Тащился и казнился, как никакому преступнику не снилось. Пред Аничкой своей казнился, убивался, мысленно из Новгорода к ней на коленях полз, туфельки ее целовал. «Прости, любовь моя, дорогая моя, жена моя. Повинен я, грешен я, и подл я. Все я сознаю, всю глубину падения своего, Аничка, не по плечам мне еще девиз, тобою дарованный: „Fidelis et fortis“, нет во мне ни верности, ни смелости жить порядочно и достойно. Довлеет азарту натура моя порочная, авантюрам довлеет, безмозглому риску довлеет, знаю, чувствую, казнюсь и страдаю. И все же

клянусь тебе, любовь моя единственная, что добьюсь я права осмысленно и гордо носить присвоенный мне тобою, Дамою сердца моего, девиз великой верности тебе и отчаянной смелости в защите верности этой. Клянусь, потому что всю жизнь любил тебя, искал тебя, мечтал о тебе и — нашел...»

Нашел!..

Помнится, я даже остановился, сам не поверив, что так оно и случилось. Великой силой обладает искренность, потому что в какой-то миг полного откровения срывает вдруг все покровы с трусливой памяти нашей и обнажает родники наших истинных чувств. Вот потому-то церковь так настойчиво, упорно и постоянно и требует от нас, грешных, молитв: она знает, знает о могучей силе девятого вала бездонной искренности души человеческой, вала, рожденного покаянием нашим искренним. Знает, что искреннее покаяние это в конце концов поднимет в душе нашей, азартом издерганной, изолганной, пропитой и прокуренной, чистые источники детства, доселе замутненные взрослым расчетливым враньем, привычной, обыденной ложью, подлостью, трусостью, предательством друзей и идеалов юности, сделок дешевых с собственной совестью. Только ребенок божественно искренен, господа, только его душа

хрустально чиста и непорочна! И только искреннее раскаяние способно вернуть наши испоганенные ложью души в сияющие чертоги нашего детства. Молитесь, господа, молитесь, ибо молитва есть проверенный и наипростейший путь к нашему собственному детству, а значит, и спасению, ибо душа наша воскреснет вновь...

Постоял, ожидая, когда молния озарения этого внезапного угаснет во мне, и поплелся дальше. И маялся, признаюсь, пока до канцелярии не добрел и к командиру полка не ввалился. Снова лгать и изворачиваться.

Полковник у нас был — отец солдатам, да отчим офицерам. На плац опоздаешь — на неделю выволочка. Солдат заболел — предупреждение. Не дай Бог, стрясется что в эскадроне, когда ты за дружеским пуншем душу отогреваешь — в полковом офицерском собрании при мамашах дев премилых, — вслух и, заметьте, громко предупреждает:

— Этого в женихи не рекомендую.

А как мне слово данное исполнить, когда слух пробежал, будто отец меня наследства лишил? Никто мой вексель в Новгороде не примет ни под какие проценты: батюшкин характер знали не только в армии. Ну, и что остается? Остается

мчаться в Петербург и умолять родного батюшку навет сей развеять, а заодно и спасти фамильную честь. И без отпуска из полка здесь уж никак невозможно было обойтись.

— Продулся?

— Вчистую, господин полковник. Только под честное слово из-за стола и выпустили.

— Обормот ты, Сашка, — вздохнул полковник. — Ведь, поди, пулю в лоб, коли не отпущу?

— А вы отпустите, Пантелеймон Данилович, — говорю нахально. — Вам же и мороки меньше. Сами рассудите, коли офицер застрелится — расследование, инспекция, неприятности.

Пошел я тогда ва-банк: он меня на службе по имени, и я его на той же службе — тоже по имени. А что делать? Честь на карте, равная жизни честь.

— Не завидую я ни родителям твоим, Олексин, ни супруге будущей, если, конечно, сыщется какая ненормальная... — вздохнул полковник. — Скажешь там, что к врачу тебя отпустил. Ступай, горе ты полковое...

И помчал я в Северную Пальмиру тем же вечером...

19-е апреля

Не знаю, чем бы тогда дело обернулось. Может, и отцовским проклятием со всамделишным лишением наследства: он суров был настолько порою, что и сама милая матушка моя с ним совладать не могла. Вот о чем, помнится, думалось мне с горечью, когда тряся я по весенним ухабам, никакого выхода не видя. Только, на счастье мое, ямщики новгородские ушлыми были ребятами. Оглянулся на меня с облучка очередной Тараска, вцелился взглядом, будто насквозь прострелил, да вдруг и говорит:

— А что, барин, на первой станции прикажешь или лучше тебе на вторую?

— А чем, — говорю, — лучше-то? Дочка смотрителя уж больно хороша или самовар там погорячее?

— Веселее там, — говорит мой ямщик-простачок. — Там завсегда господ много. В картишки перекидываются.

В картишки!.. Ошалел я: вот он, выход. А коли не выход, так все равно терять уж нечего. Ах, Аничка моя, помолись за своего непутевого!..

— Ко второй, Тараска!..

— Ну, залетные!..

Конечно, если бы денег и впрямь в тот момент в кармане моем не оказалось, вздохнул бы только: третий разряд — рычащий — без оных к столу

игорному не садится, гонор не позволяет. Но аккурат утром сегодня на выезде из Великого Новгорода встречает меня не кто иной, как Мишка Некудыкин:

— Помолись за меня, Сашка. В добром питейном заведении.

И протягивает мне пять сотен.

— До подаваний, — говорю, — еще не докатился.

— Отдашь, когда куш сорвешь!

Нет, недаром в Наставлении об конноегерцах записано черным по белому: «Брать в конноегерцы офицеров только самого лучшего проворного и здорового состояния...»

Миновали мы с Тараской первую станцию, остановились у второй, куда как малозаметной. Вошел в избу: никого, кроме любезного смотрителя. И по масляной любезности его вижу, что мне и в самом деле уж очень обрадовались.

— Что прикажете, господин офицер? Обед, самовар?

— В тишайшую половину — бутылку рома и... сколько там рюмок сейчас?

— Рюмок?.. С вами — шесть.

— Вот шесть и подавай.

— Извольте шинель снять.

— Лихорадка бьет.

Снимаю саблю, как водится, а шинель запахиваю: у меня под нею пара пистолетов. Два туза на всякий случай, так сказать. И оба — козырные.

— Так печка там топится, ваше благородие.

— Вот от печки и потанцуем. Веди в тишайшую.

Проводит меня хозяин.

— Их благородие тут погреться решили.

Молча гляжу от порога, ноги очень уж старательно вытираю: тройка пройдох в партикулярной потертости, отставной майор, по виду — аматер («любитель») страстный, да молодой человек, счастье свое пытающий едва ли не впервые. Морды у пройдох шестерочные, у майора красная, у юнца — под лимон, хоть закусывай. «Липку дерут, — думаю. — Только лыко драть и лапти плести — не для одних рук дело». Представляюсь и — сразу к столу:

— Коль уж греться с дороги, так оно лучше — за картишками. Удача кровь разгоняет.

Поначалу этакого межеумка полкового изображаю: уж и не робкий, а еще никак не игрок. Понимаю, что троица эта, лихо в карточных баталиях потертая, разноцветных бедолаг потрошит. Однако не нахрапом, без наглости, на учебной рыси, так сказать. И я пошел той же

рысью, галоп свой приберегая: и не следует резвость до времени показывать, и узнать желательно манеру их неторопливую. Майор с Лимончиком от собственных карт уж и глаз не отводят, а шестерки ко мне приглядываются. И я соответственно — к ним. «Проиграть надо, — думаю. — Непременно проиграть, чтоб был резон ставочку повысить».

— Сколько в банке?

— Одна сотня двадцать.

— Стало быть, с трети и начнем, помолясь.

Не играем — дубину пилим: раз к себе, другой от себя. За это время масти шестерок распределяю: кто из них пиковый, кто — трефовый, а кто и во бубнах и рожей, и повадками.

Смотритель ром приносит, а пока разливает, банк к Бубновому переходит. Румяному такому, с масляными глазками.

— За доброе знакомство наше, господа!

Не отказываются. У Трефового — пожилого, хитренького, хихикающего — ручки подрагивают, когда с рюмкой соприкасаются. То ли сопьется вскорости, то ли уже спился.

А я, время не тратя, банчок Бубновому навариваю. Мягонько, чтобы не спугнуть до срока: «Ах ты!.. — дескать. — Хотел же другую заломить, вот невезенье!..» Ну, и так далее. Разные есть способы, и о них в нашем «Егерском наставлении»

прямо говорится: «Егерь должен преодолевать все препятствия, какие только встретиться могут». Вот я и преодолеваю.

За третьей рюмкой банчок до тысячи поднял. Раскраснелись все, даже Лимончик. Он подряд два раза выиграл немного и на радостях новую бутылку потребовал. На руку мне: шестерки на рюмочки живее откликаться стали. Повздыхал, повертелся, посопел даже и... «Ну, Аничка, молись за меня...»

— Еще карту.

Аккуратно дал банкомет шестерочный трефовой масти, снизу. И рукава высоко поддернуты...

Туз пришел! Как виду не подал, сам удивляюсь.

— По банку!

Риск невелик: двадцать очков на руках. Но — против банкующего... Так, Бубновый свои картишки сразу бросил. Стало быть, знает, сколько там, у банкмета на руках...

Девятнадцать у банкмета! Но я — даже не улыбнулся.

— С кем не бывает, — говорю.

Чувствую кураж, чувствую! Пошла карта. Только бы не зарваться: теперь я банк держу.

Что долго-то расписывать: удержал я тот банк. Рубликов этак под семьсот. А следующий у меня майор сорвал, чему я, прямо скажем,

обрадовался: и проигрыш невелик оказался, и майору, слава Богу, наконец-то счастье улыбнулось, и за бутылкой он послал на радостях своих.

Не люблю, когда отставных офицеров чина невеликого пройдохи обыгрывают. За ними семья, дети, хозяйство, а доходов — всего пенсия. Не люблю. Совестно мне всегда, даже когда не я в выигрыше оказываюсь.

Жрать было охота, кишка кишке атаку трубила. Но отказал я животу своему. Сытых кураж не любит.

...Держи кураж! Всегда держи кураж, чем бы ты ни занимался: в бою тоже свой кураж есть, и коли потерял его хоть на миг единый — быть тебе на земле. Тогда считай копыта над головой, куда в сознании еще пребываешь. Было такое со мной, было, в Бессарабии еще, довелось считать. Слава Богу, хоть свои копыта тогда надо мною пронеслись. А ну как вражеские считать доведется?..

Ну, вот и по-крупному пошло после третьей бутылки: крапивное семя от дармовой выпивки не враз-то и оторвешь. Присасываются. Жалко мне их, которые вот так промышлять вынуждены, ей-Богу, жалко при всем их гнусном ремесле. Чин — в самом подножье российского Табеля о рангах,

пенсии — грошовые и — не дворяне, как правило. Дети священников, солдат или вольноотпущенников, доходов никаких, а семьи — в рыдван не усадишь. Ну, ну, Сашка, кураж мягких не любит. Лучше отставного майора пожалей: опять проигрывать начал.

Вот так и канителились, ром попивая, но в выигрыше пока был только я. Правда, в основном за счет майора, к сожалению, и дворянчика Лимончика. Но я ждал своего часа, с надеждой ждал по мере того, как убывал ром.

Светать стало, все уж устали, но никто пока о конце сражения не заикался. Все в раж впали: дворянство — в сладкой мечте хотя бы проигрыш вернуть, крапивное семя — в сладкой надежде меня объегорить. А я им подыгрывал, как только мог. И зевал, и кряхтел, и подремывал, и жаловался на усталость с дороги.

Вот это их и погубило: осторожность потеряли. Незаметненько и этак аккуратненько появились картишки из другой колоды, рубашка которой отличалась столь малозаметными нюансами, что на рассвете да еще после рома углядеть ее было за гранью сил человеческих. Но я углядел, потому что по опыту знал: непременно появится. Углядел, но виду не подал, не ко времени было вид подавать. Прощельги в проигрыше, им бы не в мой карман целить, а свое вернуть, да и

подавай Бог ноги, пока мы не очухались. Но сия единственная здравая мысль покуда что в головы их не вселялась. Их другое держало — ажитация. Банк был маловат для последнего куша. Ждали они его, ох как ждали!..

Но и я ждал. А как банк за пять тысяч перевалил, душой услышал, что труба пропела. «Ну, Аничка моя, молись в сладком сне своем!..»

— По банку.

— А есть чем ответить, господин поручик? — высунулась вдруг пиковая шестерка.

Мрачный субъект. И глаз пронзительный, и сам черный, как цыганенок. Но, видать, глуп, потому как допустил целых две промашки. Во-первых, признался, что они уже выигрыш считают, а во-вторых, повод мне дал для справедливой ярости.

— Как смеешь мне, офицеру, недоверие выказывать? — гаркнул я. — Да я за меньшее к барьеру приглашал!..

Поднялся шум, начались извинения, просьбы. Я ерепенюсь, краску гнева праведного изо всех сил на усталом своем лице вызываю, ору, а сам поглядываю, что их руки в этот момент делают. Чем заняты... И вижу, отчетливо вижу, что Бубновский, урвав миг, в карман полез, вроде как за платком.

— Ва-банк! — рявкаю. — И чтобы без

намеков, оскорбительных для чести моей!

Рисковал? Еще как, но почему-то верил. Верил, что дама придет: у меня на руках аккурат восемнадцать было. И не обманула меня дама моя, пришла на дорогое — под шесть тыщ — свидание!..

— Очко!

— И у меня очко, — говорит банкомет и гаденько этак улыбается.

По правилам — он выиграл. И выиграл бы, коли бы по правилам играл. Но я-то приступ ярости не зазря закатил. Чуть было глаза не сломал, за их руками приглядывая: уж больно шустрые ребятки попались. И лапки цепучие, и глазки липкие пронзительно. И банкомет уж за деньгами тянется.

— Цурюк! — командую. — А ну-ка карты — рубашками кверху.

В три глотки заорали:

— Не по правилам!.. Не по совести!.. Прав таких не имеете!..

Тут-то я пистолет достаю и звучно курком щелкаю:

— Рубашками кверху, я сказал. Раз!..

«Два» и говорить не пришлось: сам банкомет перевернул дрожащими руками. И примолкли все.

— Света, майор.

Майор канделябр придвинул, взгляделся:

— Ах, сукины дети!.. Рубашки-то разные.

— Разные! Разные!.. — Лимончик аж

ручонками всплеснул.

— Стало быть, и выигрыш мой, — говорю. — А за плутовство — все доли партнерам вернуть. Все, до копейки! И мне — тысячу за расстройство мое.

— Не пойдет такое! — всполошился, вскочил даже Пиковый. — Хоть убейте, не...

Пальнул я в потолок. Он сразу сел, все замолчали, и зритель в одном исподнем вбежал:

— Что такое? Грабят никак?..

— Гони за исправником.

— Не надо, не надо, — забормотал Бубновыи. — Мы согласны на мировую, согласны. Сколько должны, господа, все — до копеечки, до копеечки... Без шума желательно нам.

— Мне тысячу, — напоминаю. — За консоляцию.

Отсчитали трясущимися руками. И дворянчику Лимончику, и майору, и мне — ровно тысячу сверх выигрыша. Когда рыльца в пушку, за деньгами не постоишь.

— Извините, господа, извините. Бес попутал, истинно бес попутал. Благодарствуем вам...

И в двери ринулись, друг другу мешая. Уж кто-кто, а исправник им — совсем не в масть...

Я на них не смотрел. Я на майора смотрел: слеза у него по щеке катилась. Видно, все семейные сбережения бедолага в чужие карманы спустил...

— Как же я вам благодарен, господин поручик. Как же я благодарен вам...

Позавтракал я и плотно, и весело: Лимончик на радостях угощал. Поблагодарил их, попрощался да сразу же и выехал. В Новгород, думаете? Как бы не так. К петербургским врачам, согласно письменному распоряжению полкового начальства, выехал. С десятью тысячами в кармане. В полном своем *avantage* («польза, выгода»). Завернулся в шинель, ноги полостью прикрыл и постарался все забыть...

Только 24-й день апреля никогда не забуду.

Но о нем — потом. Сперва — о Санкт-Петербурге. Записи в Новгороде оставил, а потому, стало быть, задним числом.

Сказать по совести, не люблю я Санкт-Петербурга со всеми его дворцами, мостами, проспектами и прочими красотами. Воды уж слишком много, сырости, насморка. Скользкий он для меня, как погреб, вокруг которого — сплошные казармы с фронтонами. Строили его из-под батога, а потому все в одну линию и выстроили. И дух насилия витает над прямыми проспектами: и хочется хоть куда-нибудь завернуть, а — не получается. Градостроители постарались, чтоб все только прямо и ходили фрунтовым шагом.

Впрочем, я и Москву не люблю, если уж начистоту. В молдавских кодрах мне как-то муравейник показали, который вокруг дуба расположился да и подмял тот дуб под себя. Вот тогда-то я о Москве и вспомнил. Не о той, которую в древности с веселья да похмелья строили, а о той, что получилась. А получился бабушкин клубок, настолько перепутанный да закрученный, что москвичи только тем и занимаются, что друг у друга дорогу спрашивают. Здесь и вольно, и хмельно, и всегда тесно, как и должно быть в запутанном котенком бабушкином клубке. А Кремль что тот дуб в молдавских кодрах, до гордой своей вершины облепленный муравьями.

Нет, господа, я — провинциал. Я душой отдыхаю в наших маленьких и неспешных городках, где нет ни шпалерных проспектов, в которых невольно и до сей поры свист шпицрутенов слышится, ни замысловатых арабесок муравьиного самоутверждения, ни людских скопищ, вечно спешащих неизвестно куда и неизвестно зачем. Здесь тихо, покойно, патриархально, неспешно, все друг друга знают и все друг с другом здороваются. Я бы в таком городке помереть хотел, кладбища там малонаселенные.

А еще потому я Москвы не люблю, что в ней судьба моя переломилась. Не решил еще, правда, к

лучшему или к худшему, но в этой вечной дилемме и заключено наше отличие от тварей земных.

Закончил я в Корпусе младше всех: мой батюшка — служака из служака, а потому и зачихал меня на службу в возрасте, когда еще маменьку по ночам зовут. Семнадцать мне едва исполнилось, когда я в чине прапорщика гвардии прибыл на пополнение московского гарнизона. И по утрам, признаться, то место щипал, откуда усы растут. С редкой настойчивостью.

Служить бы мне в первопрестольной, служить да не тужить, но так уж случилось, что моим первым ментором оказался гвардейский хрипун Васька Турищев. Учил он меня без затей, поскольку сам о них не ведал, зато надут был спесью, которую я по недоношенности ума своего принимал тогда за первейший признак особой комильфотности. Глупость вполне прощаемая, коли не переходит в хроническую. Мне повезло, могла и перейти.

Подробностей не знаю, а потому — без них. Васька люто взъерепенился по поводу категорического отказа какой-то белошвейки и решил преподать мне пример, как противостоять подобному а tout prix («во что бы то ни стало»). Правда, цена оказалась куда как выше предположенной.

— Ну, попляшет у меня эта девка!

Поскакали мы куда-то вечером: куда — и не

спрашивайте, и не знаю до сей поры. Молодость спокойно обходится не только без логики и размышлений, но и без географии, почему всегда влипает в истории. Вечер теплый, все прелестно, я чирикаю, поскольку возрасту моему свойственно чирикать.

— Учись защищать свою честь офицерскую, пока я жив, — втолковывал мне Васька всю дорогу. — По чести офицера ценят, нет у нас иных козырей...

И тут из-за угла появляется некая испуганная парочка. И робко так, застенчиво и неуверенно к заборам жметя. Девушка мила и юна, молодой человек, спутник ее, неестественно напряжен и как бы вроде меня. То есть без усов еще и опыта. Мой *arbiter elegantierum* («законодатель изящных манер») тут же заступает им скромную тропиночку и вдруг — весьма нагло:

— А ну-ка, котик, брысь отсюда.

Клянусь, меня передернуло тогда. Но промолчал в жажде дальнейшего обучения.

— Сударь, — тихо говорит молодой человек. — Очень прошу оставить мою сестру в покое.

— Ах твою кошечку, котик? — издевательски продолжает Васька. — Дьявольски мило, но, слышал я, у тебя дела неотложные? Хочешь, на извозчика дам?

— Сударь, — сдерживаясь изо всех сил, говорит мой ровесник. — Я прошу убедительно.

— Убедительнее всего — трость. Трость есть аргумент неотразимейший.

С этими словами Васька поднимает трость и с силой бьет ею по лицу молодого человека. Поразительно, но юнец даже не загораживается от удара, а дева слабо вскрикивает.

— Опомнитесь, сударь, прошу. К большому сожалению, я не могу вызвать вас на дуэль, потому что вы не рискнете драться с недворянином, а посему...

И тут с Турищевым происходит нечто вроде припадка. Он впадает в исступление и бьет тростью молодого человека по рукам, по лицу, по голове...

— А посему!.. А посему!.. А посему!..

— Вы заставляете меня прибегнуть к крайней мере!..

Выкрикнув это, юнец вытаскивает откуда-то из-под сюртука пистолет. Васька отскакивает, девица кричит, а юнец приставляет пистолет к собственному виску.

Как я сумел ему помешать, и до сей поры не понимаю. Но успел броситься вперед, сбить руку. Выстрел все-таки грянул, но пуля ушла в воздух. А я... все помнится ясно и туманно одновременно. То есть физические действия могу и сейчас повторить, но вспомнить, о чем думал, — excusez-moi, s'il vous

plaat («извините, пожалуйста»). Вырвал пистолет у гражданского брата таинственной белошвейки и со всей силы ударил Ваську Турищева кулаком по физиономии.

Тут уж без дуэли обойтись никак не могло. Через два дня, в Серебряном бору. Дуэль под номером один для меня. Я впервые целился в живого человека, и оружие показалось мне тогда слишком тяжелым. Но в ногу я ему все же попал. Не мог не попасть, должен был попасть, обязан был. Хотя бы в ногу.

А Васька в небо выстрелил, подлец. И крикнул:

— Бога благодари, что понравился ты мне! Эскапада твоя человечна! Ценю!..

И через десять, что ли, дней я поехал в изгнание. В пыльный город Кишинев...

...Не могу не поведать о следующем времени своем. И потому, что наградил меня Господь добрым приятельством, и того ради, чтоб наследники мои чужих писем, а уж тем паче воспоминаний не листали похвальбы для. Вот, мол, смотрите, кто в Кишиневе батюшкиным ментором оказался.

Но это не совсем так. Ментором моим он не был. Он для начала до седьмого пота меня фехтованию учил:

— Ассо, Сашка! Ассо, и всегда ассо!..

Фехтование и в наши дни забывается, шпагу пистолет заменил, а в ваши времена, дети мои, поди, оно и совсем в небытие уйдет. Только дуэли сберегите, а то в мерзости захлебнетесь. «Есть упоение в бою...» И от себя добавлю: и очищение. Извини, Александр Сергеевич, за вольное мое добавление.

Да, чтоб поняли. «Ассо» — встречный бой. Любимый бой учителя моего.

Никого я не знал в Кишиневе, ну решительно. Правда, батюшка мне письмо дал к старому другу, но письмо то я ему не показал. Не следует жизнь отцовскими памятными плитами мостить, даже если они из доброго гранита.

Да, так оказался одиноким, но дерзкая мальчишеская гордость не позволяла мне ни на знакомства напрашиваться, ни каких-либо покровителей искать. Остановился у Беллы — она держала гостиницу и пансион при ней, и я обосновался в пансионе. Временно, пока мой Савка не подберет мне самостоятельное жилье.

В том пансионе старшей оказалась болгарка

Светла — светлое имя и светлые воспоминания мои. Мне ведь едва семнадцать минуло, и хотя сына уже прижил, а все равно пока еще девственником себя ощущал. Не то чтобы волочиться — флиртовать с девицами своего круга не решался. Дух у меня замирал и язык прилипал к гортани: корпусное обучение сказывалось, что ли? Словом, этакий оболтус саженого роста с соответствующей росту этому робостью, которую я изо всех сил и весьма неумело скрывал, коли случай какой сталкивал меня с дамами, а уж тем паче — с барышнями.

А со Светлой мне пыжиться было ни к чему. Мила она была мне, застенчивости никакой я пред нею не испытывал, она — тоже, и... И — вечная ей благодарность и признательность моя. Скрасила она мои первые тусклые вечера, растворила в ласках неуверенность мою и помогла понять и осознать, что такое — мужчина. Не раздираемый яростью плоти барчук, каким я маме Луше представлялся, а — кавалер, который способен присниться, и рыцарь, которому можно довериться.

...Никогда не забывайте добра, с коим свела вас судьба по дороге. Добро достраивает душу вашу, тогда как зло всегда лишь разрушает ее. А посему и недостойно того, чтобы помнить о нем...

Приписали меня к канцелярии наместника Бессарабии генерал-лейтенанта Инзова Ивана Никитича. Службы — утром явиться, а дальше — как знаешь. И, помаявшись от таковой деятельности, забрел я как-то в фехтовальный зал.

Признаться, фехтованием я не увлекался. В детстве, помнится, батюшка меня основам учил: как рапиру держать, как салютовать перед началом схватки и в конце ее, пяти позициям фехтующего да некоторым простейшим приемам. Он уже принял тогда твердое решение меня в Корпус определить, а потому к профессиональным учителям и не желал обращаться, справедливо рассуждая, что в Корпусе сына его все равно по-своему переучат. И оказался прав совершенно: в Корпусе фехтованию каждый Божий день учили, но отнюдь не на шпагах, а на саблях. Учили тому, что в будущей офицерской службе будет просто необходимо, поскольку готовили из меня кавалериста. Но звон клинков в уши запал, почему я на этот звон и пришел.

В зале один цивильный в красной феске на бритой голове с местным подмастерьем сталью лязгал. Мне, гвардейцу, признаться, маленьким он показался, но складненьким и проворным, как обезьянка. И поначалу встретил он меня как-то не приветливо, настороженно, испуганно даже. Дней десять понадобилось, чтобы, как говорится, *la glace est rompue* («лед сломан») был. И после

первой улыбки его при звоне рапир, после взаимного обмена победами и поражениями перестали мы прибегать к помощи наемных учителей.

— Дебаже показываю, Сашка. Смотри: в атаке отводишь шпагу от клинка противника, освобождаешься и... и — укол!..

Александр Сергеевич Пушкин. Такой же ссыльный, как и я, хотя и по иным причинам. Тогда мало кто о нем знал из широкой публики, а уж гвардейцы вроде меня — и подавно. Это потом, потом знакомцев, метивших в друзья, появилось куда как много. И куда больше, чем требовалось. А мы быстро стали добрыми приятелями: оба не по своей воле тут оказались и оба — молоды и — земляки, как вскоре выяснилось. Он не так чтоб уж очень намного старше меня был. Совсем не так уж: я до двадцати, а он — за двадцать. По годам, разумеется, считаю, только — по годам.

А вот почему он столь неприязненно встретил меня тогда, я понять не мог. Странно то мне было и — неприятно, если признаться. Но — не расспрашивал, а он о другом болтал.

— Разве у меня — профиль? У меня — ростра корабельная. Это ты — Антиной, когда нос не задираешь.

(Косо и торопливо: Дьявольщина, шаги в передней. Не иначе как батюшкин посланец за мною приехал. Отложим бумаги...)

И уже много дней спустя, поскольку вечера того 24-го никогда мне не забыть...

Батюшка у меня — кремень и огниво одновременно, но я у него единственный, и мы оба об этом помним очень хорошо. Может он меня без наследства оставить? Без всякого сомнения: старой закалки, екатерининской. За первый офицерский чин подарил мне деревеньку от щедрот своих, но с нею одной может и куковать оставить на всю мою дальнейшую жизнь. А деревенька та — знал бы он! — уж и распродана по кускам, и заложена в целом...

— Ну, что скажешь? — спрашивает. — С полным ремизом во всех талиях?

Это в момент, когда я к его надушенной ручке приложился: так уж у нас заведено было, то ли по старинке, то ли воспитания моего ради. Но взгляд его уловил. Суровый взгляд, надо сказать, как при штурме Рымника. Ладно, думаю, сейчас потеплее станет.

— Ан и нет, — говорю, нахально улыбаясь. — С таким позором я бы и в людскую заглянуть не

решился.

Уж так мне рукой лоб прикрыть хотелось, так хотелось. Но помнил я, что батюшка про эту воспитательную меру отлично знает, а потому — терпел и не прикрывал.

— А что на депешу, мною полученную, скажешь? — батюшка с прищуром спрашивает.

— Это насчет семи тыщ под олексинское слово? — нагличаю, аж самому совестно, потому как мысль засвербила: «Это ж какому подлецу в голову пришло депешу послать?..» — Так слух тот я сам и распустил. Только ради того, чтобы вас с матушкой повидать. Я, батюшка, карты за версту на рысях объезжаю, лишь бы вас не огорчать.

Признаться, жду не дождусь, когда рывкнет: «Лгать не смей!..» Вот тогда и выложу все десять тузов одной червенной масти. Но он не орет, а улыбается.

— А командир твоего конно-егерского обратное утверждает в депеше своей.

Тут уж я соображаю, что пора пришла — по банку:

— Вот, батюшка, десять тысяч, что вы мне на Рождество пожаловали.

Пересчитал он. Хмуро и старательно, пальцы мусоля. Он совсем не скряга, он широкой души старик, но уж очень ему хотелось меня приструнить. Поди уж и сочинить успел, как

именно приструнивать будет. Кинул мне мои же деньги, буркнул:

— Дерни сонетку.

Дернул. И тотчас же на звонок матушка вошла: условились они так, видимо.

— Сашенька! Сыночек ты мой!..

— Вот, Наталья Филипповна, пред вами личность, нашу дворянскую честь в грош ломаный не ставящая, — вдруг радостно этак объявляет мой родитель. — Воспитали скупердяя себе на позор. За четыре месяца и трех тысяч прокутить не решился!..

Такой уж нрав. Никогда не угодишь.

— Стало быть, у вас будет о чем порассуждать у Сергея Васильевича сегодня вечером, — улыбается матушка и целует меня еще крепче. — Похудел-то как, Сашенька...

— Большой эконом! — тотчас подхватывает мой родной бригадир. — Но вечером непременно пойдет с нами, чтобы я мог похвастать сыном не за глаза.

— Куда?..

И упало мое сердце на самое дно правого ботфорта. Будто предчувствие.

— К Сергею Васильевичу Салтыкову, — с доброй улыбкой поясняет маменька. — Уж такой хлебосол...

Улизнуть не удалось. Поехали к хлебосолу.

Правда, там не задержались. Потолкались в прихожей, родительница радостно целовалась, родитель добродушно ворчал, руки пожимая, а я — кланялся старшим, поскольку до молодежи и бокала, а уж тем паче — до карточных колод еще не добрался. Но твердо решил добраться, чего бы это мне ни стоило. Очень уж хотелось отцовские прилюдные шуточки святой истиной изукрасить.

Да не судьба. Только в залу шагнули, только я общий поклон отдал, только глазами окрестности обозрел...

— Подлец!..

Глянул и обомлел. Граф передо мною. Лично, в полный свой рост. Лицо в пятнах, руки дрожат, и голова как-то неестественно назад откинута.

— Это — подлец, господа! — нервным фальцетом продолжает выкрикивать граф. — Принимать не рекомендую! Ни в коем разе! Решительно не рекомендую!..

И с размаху влепляет мне пощечину. Звонко и хлестко. У меня искры из глаз, рука сама собой сразу вверх взмыла... И опустилась по швам. Дело не в почтенном графском возрасте: не мог же я Аничкиного отца родного... Поэтому и о барьере промолчал, растерянность и оскорбленное удивление свое из последних сил изображая. Правда, недолго, по счастью.

— Завтра жди моих секундантов. Простите, Бога ради, гнев мой праведный, бригадир, и вы, почтеннейшая Наталья Филипповна. Имею основания.

Ушли мы, естественно. Но молчания, которое мне и отцу вытерпеть пришлось, я никогда не забуду. Матушке куда легче было тихие слезы лить, чем нам языки прикусывать.

В карете она и вовсе в голос разрыдалась, так ее в дом и увели. И мы с батюшкой прошли следом прямо в его кабинет. Он терпел, ожидая, когда в себя придет, и я — терпел, только мне хуже было. Я о родительском прилюдном позоре страдал, об Аничке страдал и о графе — тоже страдал, потому что подобное можно было решить только пулей наповал. Тогда бы через год, глядишь, и забыли бы, как младший Олексин пощечину получил на глазах отца и матери. Правда, о себе я тогда не думал. Хотите — верьте, хотите — нет.

Ни о чем я не думал. Я стоял и терзался, а отец трубку раскурил, налил себе анисовой, выпил, поелозил бровями по лбу и как-то очень уж спокойно спросил:

— Ты и в самом деле подлец?

— Да. Потому что дал вам повод задать своему сыну именно этот вопрос.

Кажется, слишком запальчиво это прозвучало. Батюшка глянул из-под бровей, сурово глянул.

Потом налил анисовой, пальцами рюмку ко мне придвинул. Как камердинеру, что ли.

— Выпей. Можешь сесть.

Выпил и сел. Помолчали.

— Рассказывай. Жду.

— Не подлец. Не вор. Не карточный шулер. Не трус. Не клеветник. Не, не, не. Все будет — «не».

— А что же будет «да»?

Я промолчал.

— Значит, ни с того ни с сего тебя, офицера, и нас с матерью граф прилюдно на позор обрек?

— Вас с матушкой — безусловно.

— А тебя?

— А меня прилюдно — под горячую руку. Видно, только что прикатил. Дорожный костюм на нем, обратили внимание?

— Не до того мне было, — вздохнул батюшка. — Сына по морде били. Как... как лакея проворовавшегося.

— Я ничего не украл.

— Коли так, стало быть, он целил в меня, — помолчав, изрекает батюшка. — Стало быть, мне с ним и к барьеру идти. Стало быть, дело решенное, и удались с глаз моих.

Явно двери в матушкину половину открыты были, как явно и то, что матушка все слышала. И при этих словах вошла.

— Подожди, Илья Иванович, на себя грех чужой брать. У графа дочь, именем Анна, за которой наш богоданный сыночек откровенно на всех псковских балах волочился. Он ведь давненько с ней знаком, еще с детства. Так или не так, Александр?

— Аннет здесь ни при чем, — кое-как выдавил я из себя.

— Посмотри матери в глаза. И лоб не вздумай ладонью прикрывать при этом.

Посмотрел. И сказал для себя неожиданно:

— Только не волочился я, матушка. Я люблю ее. Всем сердцем люблю. И умру, любя.

— И что же у тебя с этой Аннет... — начал было старик мой с неким внутренним запалом.

— Не надо ни о чем более спрашивать, — грустно так вздохнула матушка. — Все ясно, Илья Иванович, все ясно.

И медленно вышла, всю статью свою дородную в батюшкином кабинете оставив.

24-го то было. 24-го апреля, рамкой день обведите.

Ночью не спалось мне. От жгучего стыда и заболевшей совести. Ныла она. Как зуб, ныла.

Не о себе я думал тогда. Я получил, что заслужил. Даже меньше, чем заслужил, но довесок

из свинца заслугу мою должен был уравновесить. Я о родителях думал. О милой, спокойной, всегда прощающей меня матушке своей. О батюшке, редкой отвагой и честью незапятнанной заслужившем глубокое искреннее уважение всей русской армии. Всей, хоть депешу посылай: «Бригадиру Олексину» — доставят. Из любого полка доставят, тотчас же курьера отрядив. Каково-то ему публичный позор сына единственного, офицера гвардии, перенести? Каково?.. Это же таким рубцом на душу его, израненную и усталую, легло, который никогда не рассосется, дни земные его из него вычитая. И я, я вычел из его жизни эти дни, я, единственная надежда и тайная гордость его, в любви и счастья им зачатый! Я!..

Вьюном я на постели вертелся, крахмальные простыни в хрустящий ком сбивая. И жарко мне было, и холодно, и снова жарко, и снова холодно. Уж и вскакивал я, и по спальне метался, и снова в постель падал, и воду пил, и трубку курил, и что только не вытворял тогда в одиночестве своем и ночной тишине. Будто возможно совесть собственную, добела раскаленную, метаниями, табаком да водой притушить. Особенно когда знаешь, что и родители твои, любимые и искренне почитаемые, точно так же в своих постелях мечутся и ты — тому причина. Только ты, и никто больше.

И уж никоим образом не вспыльчивый граф: у него своя правда.

А потом вдруг заснул. Ну вдруг, как провалился, точно прикладом по голове меня ударили.

Сколько в провале том обретался, не знаю. Снов не было, чувств — никаких, время тоже куда-то исчезло. И лежу ничком: как упал, так и не пошевелился ни разу.

Но затем как бы светлеть стало, и время вернулось. Как бы издалека, как бы с разгону, как бы из тьмы уходящей, что ли. Голос матушки вдруг услышал:

— ...Он ведь давненько с нею знаком, еще с детства...

С детства. Знаком. С детства...

И всплыло детство. Зыбко, туманом дрожащим...

Мне — лет тринадцать или даже двенадцать. Из Корпуса в отпуск приехал. Гордый собою, а особо — военной формой. Басом говорить старался, но бас мой еще не прибыл, и я хрипел перехваченным от старания горлом.

— Как вовремя ты, Сашенька, — матушка говорит. — Назавтра к добрым соседям в гости

приглашены, дочке их восемь годков как раз исполняется.

— Девчонка!.. — старательно прохрипел я.

— Девочка, — поправила матушка. — Ее в пансион отправляют, завтра — проводы.

Наутро выехали. Конец мая, пора божественная, а я — в форменном мундире. Суконном. Настоял, чтоб с девчонкой этой именинной дистанцию соблюсти.

— Пусть попарится, — батюшка сказал.

Парюсь мужественно. Хотя пот — уже ручьями по спине. А в природе — ни дуновения. Природа в сладкой дреме млеет, а я — в казенном сукне. Слава Богу, ехать не очень далеко. Часа два прел, не насквозь все же. Точнее сказать, не совсем насквозь.

Прибыли наконец.

Лужайка перед господским домом вся в детях, как в цветах. Штанов почти не заметно: одни разноцветные платица. Взрослых, полагаю, тоже было достаточно, но я их как-то не заметил. Я платица разглядывал.

— Это — Аничка. Именинница наша.

Что-то воздушно-розовое приседает передо мною. Из розового газа, как из облака, — синие глазищи с косичками на висках, и больше ничего не помню. Щелкаю каблуками, резко склоняю голову. Как учили. Но учили и резко поднимать ее после

поклона, а я только склонил, а... а поднять не могу.

Из-под юбочки у нее панталончики на два вершка выглядывали. И кружева на этих двух вершках горели натуральным золотом в тот солнечный день...

Вот за этим ажурным золотом я потом и бегал. Правда, старался не бегать, а этак солидно перемещать себя в пространстве, как то и подобает военному человеку. Но когда панталончики с кружевами вдруг исчезали, переходил на несолидную растерянную рысь. Как собачонка, потерявшая след.

А заговаривать не решался, даже когда рядом оказывался. Не потому, что не знал, как беседу завязать: к тому времени мои воспитатели уже натаскали меня вести пустопорожние разговоры. А потому, что мужественно хрипеть мне вдруг расхотелось, а голоса своего — этакую помесь валторны с гобоем — смущался. Не убежден был, что он самовольно тембра не изменит. Так бы ничего и не произошло тогда, если бы Аничка сама со мной не заговорила.

— А у нас на прудах — ручные лебеди. Из рук у меня разные вкусные кусочки берут. Хотите посмотреть?

— Хочу...

От волнения пискнул в тоне прусской флейты времен Фридриха Великого, но именинница весьма

благородно не обратила внимания на мою фистулу. И повела меня к прудам: там их целый каскад оказался. Очень мелодично покрякала, и к нам из-под плакучей ивы выплыли лебеди. Штук пять, не меньше.

— Ах, покормить их нечем! — всполошилась Аничка. — Какая же я растяпушка!

— Принесу! Только не уходите, не уходите...

Галопом помчался, но куда — неизвестно. Забыл спросить, а сам вовремя не разведал. Недосуг мне было, я за кружевами бродил как пришитый. Повертелся вокруг разных хозяйских пристроек, вокруг дома, уж в отчаяние было начал впадать, как вдруг на столе в открытой терраске обнаружил блюдо с только что испеченными эклерами. Схватил его и — пулей через парк к прудам, лебедям и девочке с золотыми кружевами. Следовало бы, конечно, цели поменять местами, но так — убедительнее порыв.

А блюдо тяжеленным оказалось. Еле доволок.

Ах, какое волшебство! Сидели на травяном откосе у пруда, лопали эклеры и кормили лебедей. Правда, кормила одна Аничка: меня вожак пребольно ущипнул, когда я попытался ее заменить. Больше не пытался: палец кремом лечил по Аничкиному рецепту. А она кормила — ее не щипали и даже позволяли себя гладить. Я

регулярно мазал кремом палец, сосал его и молчал, зато Аничка болтала за двоих.

— Вы любите мечтать? Я обожаю. Я читаю, читаю, а потом закрываю книгу и мечтаю о рыцаре без страха и упрека. Я увижу его и сразу влюблюсь навсегда, потому что любить — значит жить, а жить можно только один раз...

Только один раз, подумал я почему-то. Вспомнил, ей-Богу, вспомнил, что подумал тогда именно так.

— А почему вы ладошкой лоб прикрывали, когда с этой противной Полин беседу вели? — вдруг спрашивает Аничка. — Смешно очень прикрывали, ладошкой наружу.

Я тогда еще и впрямь лоб ладонью прикрывал, когда что-то скрывать приходилось. Матушка мне, маленькому еще, сказала, что у меня все на лбу написано будет, если я когда-нибудь скажу неправду. Вот я и прикрывал всегда, когда очень уж хотелось в чем-то не признаваться, и долго от этой привычки отделаться не мог. Но в миг тот мне лгать совсем не хотелось. Мне хотелось этой девочке говорить только правду. И я рассказал про матушкино предупреждение, разъяснив в конце причину, почему вынужден был прибегнуть к этому способу в беседе с противной Полин:

— Она спросила, был ли я в Париже. А я не был, но прикрыл лоб и сказал, что был.

— Ой, как это славно! — Она аж пальчики от восторга перед грудью сцепила. — Я своих деток непременно этому обучу.

И так искренне воскликнула, что я решился, всю свою смелость собрав:

— А кружева у вас из настоящего золота?

— Какие кружева?

— Вот. На ваших панталончиках.

Она рассмеялась. Будто колокольчик прозвенел.

— Они — бабушкины. Хотите потрогать?

Сердце у меня почему-то заколотилось, и я потрогал. Мягкие, а на ощупь тяжелые. И хрипло изрек:

— Тяжелые. Значит, золотые.

— Брюссельские. Маменька так сказала.

Неизвестно, как бы закончилась эта беседа, если бы не закончились эклеры. Но все вкусное в детстве быстро кончается, и пирожные закончились тоже, остались крошки да кусочки, но хозяйственная Аничка решила отдать их лебедям. И с тяжеленным — я-то знаю! — серебряным блюдом в руках наклонилась к воде, ласково этак крикая. А блюдо перетянуло ее, Аничка вскрикнула, выпустила его со страху из рук, но я успел ее схватить и даже прижать к себе, пользуясь древним правом спасателя.

А блюдо совершенно беззвучно исчезло под

водой...

Кончилось видение. Очнулся я, но все ясно стояло перед глазами. Аничка, брюссельские кружева, лебеди и тяжелое блюдо, без всплеска канувшее в пруд... «Почему же я раньше об этом не вспоминал? — думалось мне. — Потому что девочки волшебным образом превращаются в барышень? Потому что я в тех девах запутался, которых успел на пути повстречать?.. И ты мне напомнить решила, любовь моя, что влюбились мы друг в друга целую вечность назад?..»

«Нет, это — прощание, — вдруг грустно и спокойно понял я. — Я буду убит. Убит... Это — прощание...»

Через два дня мы стрелялись. От батюшки избавиться не удалось, как мы с матушкой его ни умоляли. Так вдвоем и приехали в его карете. И молчали всю дорогу. И, приехав на место, тоже молчали в ожидании графа. А когда появилась его карета, батюшка сграбастал меня, прижал к груди своей:

— Ступай, Александр. Храни тебя Господь.

Я вылез, а он в карете остался. И даже все шторы задернул очень старательно.

А я подошел к графу и молча поклонился. И

все дальнейшее делал, будто одереvenев. Секундантов благодарил, пистолет брал, к своему номеру шел, стоял там, ожидая, когда граф место свое займет. И ни о чем не думал, потому что первый выстрел мне принадлежал по всем правилам дуэли. Меня публично оскорбили, меня же вызвали к барьеру, мне и надлежало первым на курок нажимать. И я знал, что дуэль наша одним моим выстрелом для меня и закончится. Давно знал, еще с того злосчастливого вечера у хлебосольного Салтыкова.

И когда наконец-таки сигнал к началу услышал, поднял пистолет и выстрелил в синее апрельское небо.

Кажется, закричал кто-то из секундантов, требуя остановиться, потому что один из соперников отказался от своего права уцелеть.

— Нет!.. — рявкнул граф.

Это я расслышал и впервые глянул в его глаза. А граф поднял пистолет да и бабахнул считай что навскидку. И меня так по голове садануло, что отлетел я куда-то, вмиг сознание потеряв и в черноту провалившись.

Очнулся в отцовских объятьях. Карету трясло и раскачивало, в голове у меня тоже что-то тряслось и раскачивалось, и боль была такой, будто голову мою расплавленным свинцом залили до краев. Расслышал только бормотание отцовское:

— Бог упас. Бог упас...

...И снова отчалил от ясного берега...

Ассо, ассо, всегда — ассо!

Май. Ну, скажем, 15-го

Графская пуля лоскут кожи с головы моей снесла. Но череп не пробила, только чиркнула по нему и дальше унеслась, неведомо куда... Череп у меня как у зубра, что в молдавских кодрах мне как-то повстречался. Меня на охоту господарь ясский Дмитрий Мурузи однажды в свои угодыя пригласил.

— Только в голову ему не стреляй, Сашка. Пуля от его головы отскакивает, как от каменной стены. И зубр тогда очень сердится. Под левую лопатку целься.

В глаза зверя смотрели когда-нибудь? Да не медведя, не волка, не барса даже. Настоящего зверя, доисторического, в очи которого наш прапращур глядел, дубину в потных руках сжимая? Не через решетку, разумеется.

Иное у них выражение глаз, взгляд иной. Допотопный, лишенный всякого выражения. Ни злобы во взгляде их нет, ни ярости, ни ненависти —

ничего нет. Пусто. Завораживающе пусто, взора не оторвешь, всей душою своей ощущая при этом, как в твою, в собственную душу твою ужас вливается, до краев ее заполняя. Потому что глаза их — мертвые только для нас, а для себя, для ледникового своего бесчувствия глаза у них живые. Только для себя и живые, а для всего прочего живого — мертвые.

А обычные звери, мохнатые и теплые, совсем иные. Они и соседи наши, и ровесники, и даже — дальние родственники, потому что Господь человека и зверей для него в одну неделю создал с разницей в один день. И общими чувствами наделил: страхом, болью, злобой, яростью. И на нас они с нашими же чувствами и смотрят, и мы их взгляд понимаем: нам и страшно порою, очень даже страшно, а вот пещерного ужаса перед ними не возникает. Возникает ужас спасительный, а не ужас обреченный.

Значит, зубра не Господь Бог создал, а кто-то другой. И не для нас создал, а — против нас. Не для украшения жизни нашей, а для устрашения ее.

Почему я — вдруг о зубре? Нет, нет, с головою у меня все в порядке, только болит очень. Но все я соображаю и сейчас не заговариваюсь, а вспоминаю. Глаза графа вспоминаю в тот самый миг, когда палец его на курок нажимал.

— Да Бог с тобой, Сашка, — скажете. — Да кто ж на дуэли выражение глаз противника увидеть может? Разве что сокол поднебесный да горный орел...

А я — видел, хоть и не сокол я поднебесный и не горный орел. Зубром он был у барьера, зубром, господа, взгляд его тому свидетель неоспоримый. И стрелял навскидку, не как все. Из дуэльного пистолета и — навскидку...

Только почему же он промахнулся?.. Нет, не так, не так спросил. ЗАЧЕМ он промахнулся?..

Меня после дуэли быстренько в родовые Опенки отвезли, а затем в Санкт-Петербург доставили. Дня четыре я в нашем в Санкт-Петербургском доме без сознания провалялся, а чуть в себя стал приходить, снова — в карету. Сквозь боль дикую и сотрясенное сознание свое помню колени матушки, на которых всю дорогу голова моя лежала.

А больше ничего не помню...

А увезли меня потому, что батюшка всеми силами следы заметал, неистово веря в выздоровление мое и беспокоясь о дальнейшей моей карьере. А для этого меня для начала от государевых очей требовалось спрятать подальше, и как можно скорее. И мобилизовать всех добрых

знакомых, чтоб словечки свои бормотали кому надо и где надо. И, проделав все это, бригадир мой единственный, родной и любимый, в Новгород ринулся, чтобы договориться о моем переводе в иной полк. А некто, хорошо знающий Государя, посоветовал батюшке, чтобы новый полк тот оказался армейским.

— При надобности можно будет осторожно намекнуть Государю, что сын ваш уже наказан достаточно серьезно. Из гвардии в сермяжную армию перелететь — это, знаете ли...

Еще кто-то усиленно рекомендовал с графом переговорить на предмет моего прощения. Но тут уж родитель мой рассвирепел и рывкнул окончательно:

— Лучше Сибирь!..

Не знаю, как уж там все разворачивалось, а только дуэль нашу осторожненько спустили с вершинки в лощинку, где и оставили до лучших времен. И все обошлось, только я из гвардейца стал армейцем и зачислен был в поручики Псковского полка. И когда я, малость самую придя в себя, узнал об этом, то стыдом обжегся и сразу же матушке начистоту все выложил:

— Долг. Семь тысяч подполковнику Затусскому и пять сотен — Мишке.

— Сделаю, голубчик, все сделаю, не терзай себя. Сегодня же человека пошлю.

И я сразу успокоился, потому что матушка никогда меня не обманывала. Ни разу в жизни.

...Надо непременно кому-то верить с самого маленького, что ли, детства. Верить без всяких клятв и слов, верить всем сердцем и всею душою своею в жизни своей практической. Скажете — отцу, мол, и матушке вместе? Хорошо бы так, да не получается. Дитя так устроено, что раздваиваться еще не умеет. Может быть, поэтому и дитя? И батюшка может стать тем камнем, на который потом совесть ваша всю жизнь опираться будет, и матушка, и дедушка, допустим, или там бабка. Но кто-то один. Двоих детская душа вместить не способна. Мала она еще очень.

У меня основой этой матушка оказалась. Может быть, потому, что батюшки перед глазами не было. Воевал батюшка.

Только голова моя не желала успокаиваться. Болела, трещала, мутилась. И мысли мои бились в ней и тоже болели, трещали, мутились и рвались на части.

— Ты о приятном думай, Сашенька. Гони, из сил последних гони черноту из головы.

О приятном?.. А у меня — дуэль перед глазами. И — зубр с «Лепажем» в руке. Но я поднатужился...

...и вспомнил, как хохотал Пушкин, когда я ему однажды про матушкино предупреждение рассказал.

— Да тебе нужно не ладонью лоб загоразивать, а конское ведро на голову надевать, Сашка! У тебя же на физиономии все написано!..

...Ох, как болит голова... Каждый толчок сердца болью отзывается. Нет, уходить надо из больного этого мира, уходить...

...— Не стискивай шпагу, Сашка, не сабля. Пальцами ее держать надо, только тогда она продолжением руки твоей станет. Аппель! Готов к мулине? Тогда держись.

Ах, как играла шпага в руке Александра Сергеевича! Трижды сверкнула в воздухе, кругом прошла перед глазами, и... и мой клинок со звоном отлетел в угол.

— Сашка, ты же ручищами своими подковы гнешь, а шпаги удержать не в силах. Пальцы у тебя слабые.

— Слабые?.. — обиделся я тогда. — Да я пальцами волошские орехи давлю дамам в диковинку.

Улыбнулся Александр Сергеевич:

— Принеси-ка трость мою.

Пошел я за тростью вразвалочку, со всей гвардейской небрежностью. Изыщно этак поднял ее и... И чуть не выронил. От неподготовленности, что ли. Такой неожиданно тяжелой она оказалась. Ну с полпуда, ей-Богу.

А Пушкин от хохота изнемогает. Он очень смешлив был, когда в добром расположении.

— Она тяжелого железа, Сашка, — пояснил он, с хохотом своим управившись. — Мне ее по заказу отковали.

— Зачем?

— Зачем? Затем, чтобы пистолет в руке не дрожал. Не все же гвардейцами рождаются.

Взял у меня трость и завертел ее мельницей меж пальцев правой руки. Ну будто петербургский фат перед гризетками. А вздохнул совсем невесело:

— *Noblesse oblige* («положение обязывает»), Александр. *Noblesse oblige*.

И в миг единый переменялся. Глаза стали колючими, неприветливыми какими-то. Толстые губы оттопырились еще больше, даже брови будто друг на друга наехали.

— Что это с тобой, Александр Сергеевич?

— Уйди.

Я тогда еще не привык к тому, сколь быстро Пушкин переходит из одного настроения в другое, казалось бы ни с того ни с сего. Вдруг это с ним случалось, мгновенный переход, будто с аллюра на

аллюр. То был — сама улыбка, само остроумие, сама любовь к окружающим. То вдруг — мрачный демон, резкий, а подчас и невыносимо резкий, колючий весь, язвительный. То молчаливым и задумчивым внезапно станет среди дружеской попойки: хоть кричи ему — не откликнется. То — и опять вдруг, будто из себя самого фонтаном взрываясь, — озорной, веселый, живой, остроумный. И все — вдруг, вдруг...

Это я потом понял, что стихия внутри его бурлила. Это у нас нрав, характер, воспитание, оглядка да прикидка, а у него — сама стихия первозданная.

Но тогда я этого еще не ведал, а потому сразу же и сам удила закусил.

— Как вам угодно будет, милостивый государь, но больше я сюда — ни ногой.

То ли он в тот раз со стихиями своими справился, то ли меня, юного простака, пожалел, а только улыбнулся как бы через силу. И снял с левого мизинца длинный золотой наперсток.

Он под ним ноготь старательно и любовно отращивал. Слабость у него такая в те кишиневские времена была. Слабость и гордость одновременно, потому что наши гордости и есть наши слабости. А чего больше в Пушкине было — слабости или силы, этого уж никто не в состоянии измерить: не нашего измерения Александр Сергеевич был, не

земного. Но так сужу, что слабости и были силой его, а силы — слабостями. Гений — всегда парадокс, которого не разрешить и самым мудрым из мудрецов.

Да, так снял он колпачок с мизинца, а ногтя-то там и нет. Под корень обгрызен. Он ведь ногти не только отращивал, но и грыз порою. Но уж коли отращивал, то очень этим гордился:

— По две линии за сутки отрастают.

И вдруг — огрызок под золотым наперсточком.

— Сломал?! — ахнул я.

Александр Сергеевич аккуратно мизинец колпачком прикрыл и тяжело вздохнул:

— Если бы. Хлыщ один вчера у Гольды в бильярдной сломал. И не случайно, а — обдуманно и нагло, поэтому никаких извинений его я и не принял.

— И чем же дело закончилось?

— Завтра отношения будем выяснять.

— Располагайте мною, Александр Сергеевич, — говорю. — Где и когда? Я готов.

Усмехнулся он. Добро и грустно.

— Нельзя тебе, Сашка, секундантом моим быть. Ты же как раз за дуэль и сослан в палестины эти.

— А я все равно там завтра буду. Буду! Я все ваши тайные местечки здесь знаю.

Ничего он на это не ответил. Помолчал, покивал красной своей феской, сказал неожиданно:

— Знаешь, кто секундантом у этого хлыща? Дорохов. Руфин Иванович, собственной персоной. И думается мне... Знаешь, что мне думается? Что до меня они могут добраться. На дуэли проще простого к человеку придраться, ты это не хуже меня знаешь. И не ссоры опасуюсь, а не к месту она сейчас. Так-то, Сашка, так-то. Дорохов — игрок отменный, на зеленом сукне с ним бы счастья попытать, куда бы как любопытнее было.

С Руфином Дороховым я в знакомцах не состоял, но был хорошо о нем наслышан, очень даже хорошо и — с разных сторон. Кто-то им восхищался, кто-то его и на дух не выносил, но никто не отрицал ни его отчаянной смелости, ни петушиной драчливости, ни холодного расчетливого бессердечия, ни восторженной преданности дружбе. Следовательно, был он фигурой, о которую все глаза спотыкаются, а потому и запоминают. А кроме того, слыл он и картежником, и до того при этом азартным, что любой себя уважающий игрок почел бы за счастье великое выудить из него хотя бы полсотни червонцев за вечер. Однако рассказывали, что понтировать с ним было все едино что пытаться пообедать вместе с бенгальским тигром одним куском кровавой добычи. И когда я в рассуждениях

своих дошел до карточной колоды, то, как мне показалось, сразу же и понял озабоченное беспокойство Пушкина. Затаенною мечтою Александра Сергеевича было не желание с волнующим кровь риском обменяться с Дороховым пулями. Нет, нет и вовсе нет! Заветной мечтою его было урвать у знаменитого бретера и игрока добрый кус принадлежавшего лично ему мяса. Пообедать с бенгальским тигром на зеленом сукне одним куском добычи.

И это желание следовало осуществить до вероятной дуэли между ними, а не после нее, вот что Пушкина тогда беспокоило. После возможной дуэли одного из партнеров почти наверняка не оказалось бы за карточным столом...

Насколько мне тогда было известно, с Александром Сергеевичем Дорохов никогда не прятельствовал, наедине они не встречались, в компаниях не пикировались, а если меж ними что и могло быть когда-либо, то как бы снаружи, но никак не изнутри. К примеру, даму сердца не поделили, сами не ведая об этом. Возможно? Вполне возможно. Что еще? Насмешка, через третьи уста перешептанная?.. Ну, это вряд ли, Дорохов — мужчина очень даже серьезный был, на слухи не падок. А вот эпиграмма... Щедр на эпиграммы, подчас и злые, и колючие, был в то

время Александр Сергеевич, ничего не скажешь. Сыпал ими направо и налево, в дамские альбомы их записывал, в списках они широко расходились, в собраниях разных их наизусть читали, помирая с хохоту, — что было, то было. И даже если в адрес самого Дорохова и строчки не прозвучало, то вполне могло про его друга закадычного прозвучать, про доброго знакомца, про его пассию, наконец. Могло, вполне могло: Пушкин в стихах своих никого не щадил. Ни друзей, ни недругов, ни дев цветущих, ни седовласых старцев. И по этой особенности своей, сам того не желая и не ведая даже, ненароком мог очень чувствительно задеть всегда ищущего повода для обид высокомерного гордеца, коим и был Руфин Дорохов...

А еще Руфин Иванович Дорохов был средоточием откровенного, ничем не прикрытого порока. Всегда откровенно — да с вызовом! — говорил то, что думает, нагло ухаживал, а если уж прямо сказать — то не просто волочился, как то принято было, а чуть ли не приставал к дамам, грубил генералам и чинам, не признавая ни заслуг их, ни возраста, ну и так далее. Вплоть до матерщины в мужской компании, столь затейливо чудовищной, что свечи порою гасли. Правда, не столько от круто пересоленных выражений его, сколько от хохота клеветов. Иными словами,

Дорохов открыто делал то, о чем тайно мечтаем мы, мечтаем и — не решаемся, и мучительно завидуем тому, кто оказывается на это способным. Мужчины все в той или иной мере порочны, это так, но порок вызывающий — это и магнит для нас. Всегда — магнит невероятной мощи притяжения. И Пушкина с неодолимой силой тянуло к Дорохову, к пороку, на грань мерзости именно поэтому.

Не мастак я думать, а потому неизвестно еще, до чего бы додумался тогда, если бы Александр Сергеевич не перебил заплутавшие мысли мои:

— Ты где квартируешь, Сашка?

— Мазанку снял, крайнюю в Кишиневе. За нею — уже виноградники, сады да вольные цыганы.

— Цыганы? — оживился Александр Сергеевич. — И ты в знакомствах с ними?

— Кое с кем в знакомствах. С табором одним, что в лощинке возле берега стоит. Большой табор довольно, Кантарай вожак их. Ром-баро, как они его называют.

— Один в мазанке живешь?

— Один, если Савку, слугу моего, не считать. А хозяйка, мама Каруца — так уж она просила себя называть, — в халупе, посреди виноградника.

— Мама Каруца?

— Не знаю, то ли имя это, то ли прозвище

какое. Она меня с цыганами и познакомила, бывают они у нее.

— В гости напрашиваюсь, Сашка. — Пушкин в непонятном волнении пометался по фехтовальному залу. — Может, прямо сейчас и поедем? У меня ренского — целый ящик...

Выключился я вдруг из дорогих воспоминаний. Почему выключился, не могу объяснить. Мысли скакали взбешенно...

...А почему граф меня прилюдно подлецом обозвал? Родителей моих во внимание не приняв и не пощадив при этом. А ведь приятельствовал с ними, давно и добро приятельствовал. Ну ладно — я. Шут, фанфарон, хрипун гвардейский. Но — батюшка с матушкой, почтенные и всеми уважаемые родители мои?..

Стало быть, рассвирепел до крайности. Настолько рассвирепел, что даже за неблизкую дорогу не успокоился. Скорее наоборот, растревлял себя, до исступления доводя. Что за причина терзала его столь мучительно? Что за причина?..

Вспомнил:

— ...Я все маменьке расскажу...